

ЛЕНИН
ОГОНЁК
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРАВДА», МОСКВА
№43 ОКТЯБРЬ 1980

ИНФОРМАЦИОНН
О Пленуме Центра
Коммунистической парт

21 октября 1980 года состоялся очередной Пленум Центрального Комитета КПСС.

Пленум заслушал доклады заместителя Председателя Совета Министров СССР, председателя Госплана СССР тов. Н. К. Байбакова «О Государственном плане экономического и социального развития СССР на 1981 год» и министра финансов СССР тов. В. Ф. Гарбузова «О Государственном бюджете СССР на 1981 год и об исполнении Государственного бюджета СССР за 1979 год».

На Пленуме с большой речью выступил Генеральный секретарь ЦК КПСС тов. Л. И. Брежнев.

В прениях выступили: тт. Ашимов Б. А.— Председатель Совета Министров Казахской ССР, Демирчян К. С.— первый секретарь ЦК Компартии Армении, Савин С. Н.— бригадир слесарей-электромонтажников Воронежского завода радиодеталей, Медунов С. Ф.— первый секретарь Краснодарского крайкома КПСС, Усубалиев Т. У.— первый секретарь ЦК Компартии Киргизии, Фила-

---

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПЛЕНУМА ЦЕНТРАЛЬ

О ПРОЕКТАХ ГОСУДАРСТВ
ЭКОНОМИЧЕСКОГО И СОЦИАЛЬНО
И ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТА

1. Одобрить в основном проекты Государственного плана экономического и социального развития СССР и Государственного бюджета СССР на 1981 год.

Рекомендовать Совету Министров СССР внести указанные проекты на рассмотрение очередной сессии Верховного Совета СССР.

2. Целиком и полностью одобрить положения и выводы, изложенные в речи Генерального секретаря ЦК КПСС товарища Л. И. Брежнева на настоящем Пленуме, положить их в основу деятельности всех партийных, советских, хозяйственных органов, профсоюзных и комсомольских организаций по выполнению и перевыполнению плана 1981 года, более полному использованию интенсивных факторов экономического развития в интересах повышения благосостояния советского народа.

ОЕ СООБЩЕНИЕ

льного Комитета ии Советского Союза

тов А. П.— первый секретарь Новосибирского обкома КПСС, Федоров В. С.— министр нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности СССР, Гришин В. В.— первый секретарь Московского горкома КПСС, Романов Г. В.— первый секретарь Ленинградского обкома КПСС, Рашидов Ш. Р.— первый секретарь ЦК Компартии Узбекистана, Щербицкий В. В.— первый секретарь ЦК Компартии Украины.

Пленум ЦК КПСС принял по обсуждавшимся вопросам соответствующее постановление, которое публикуется в печати.

Пленум ЦК КПСС перевел секретаря ЦК КПСС т. Горбачева М. С. из кандидатов в члены Политбюро ЦК КПСС.

Пленум ЦК КПСС избрал члена ЦК КПСС, первого секретаря ЦК Компартии Белоруссии т. Киселева Т. Я. кандидатом в члены Политбюро ЦК КПСС.

На этом Пленум ЦК КПСС закончил свою работу.

НОГО КОМИТЕТА КПСС

ЕННОГО ПЛАНА ГО РАЗВИТИЯ СССР СССР НА 1981 ГОД

3. Пленум Центрального Комитета КПСС выражает твердую уверенность, что рабочие, колхозники, интеллигенция, все трудящиеся страны встретят XXVI съезд ленинской партии новыми трудовыми достижениями, приложат свои силы, знания и опыт для успешного выполнения плана 1981 года — первого года одиннадцатой пятилетки.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

ОГОНЁК

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ И ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ЖУРНАЛ

Основан 1 апреля 1923 года

№ 43 (2779)

25 ОКТЯБРЯ 1980

© Издательство «Правда», «Огонек», 1980

Член Политбюро ЦК КПСС ГОРБАЧЕВ Михаил Сергеевич



Тов. Горбачев М. С. родился в 1931 году, член КПСС с 1952 года. Окончил Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова и Ставропольский сельскохозяйственный институт.

Свою трудовую деятельность начал в 1946 году помощником комбайнера. С 1955 года на комсомольской и партийной работе: первый секретарь Ставропольского горкома ВЛКСМ, заместитель заведующего отделом, второй, первый секретарь краевого комитета комсомола, парторг территориально-производственного колхозно-совхозного управления. С 1963 года заведующий отделом крайкома КПСС, первый секретарь Ставропольского горкома партии, второй секретарь крайкома КПСС. С 1970 года первый секретарь Ставропольского крайкома КПСС. В 1978 году избирается секретарем ЦК КПСС, в 1979 году — кандидатом в члены Политбюро ЦК КПСС.

Депутат Верховного Совета СССР ряда созывов.

Во время беседы.

Фото В. Мусаэльяна (ТАСС)

С ОФИЦИАЛЬН

Подписание Заявления Советского Союза и Демократической Республики Афганистан.

Проводы на аэродроме.

ЫМ ВИЗИТОМ



Фото А. ГОСТЕВА.

По приглашению ЦК КПСС, Президиума Верховного Совета СССР и Советского правительства 16 октября в Москву с официальным дружественным визитом прибыл Генеральный секретарь ЦК Народно-демократической партии Афганистана, Председатель Революционного совета и Премьер-Министр Демократической Республики Афганистан Бабрак Кармаль.

16 октября в Кремле состоялась беседа Генерального секретаря ЦК КПСС, Председателя Президиума Верховного Совета СССР Л. И. Брежнева с Генеральным секретарем ЦК Народно-демократической партии Афганистана, Председателем Революционного совета и Премьер-Министром Демократической Республики Афганистан Б. Кармалем.

В ходе беседы, прошедшей в атмосфере сердечности и полного взаимопонимания, был рассмотрен ряд вопросов дальнейшего развития государственного и партийного сотрудничества.

16 октября в Кремле состоялись советско-афганские переговоры.

Во время переговоров, проходивших в атмосфере сердечности, дружбы и взаимопонимания, состоялся обмен мнениями по узловым вопросам советско-афганских отношений. Было выражено глубокое удовлетворение их успешным и плодотворным развитием на основе Договора о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве 1978 года.

Л. И. Брежнев отметил, что советско-афганское сотрудничество охватывает различные области и имеет ясную перспективу. Оно базируется на общности коренных интересов, что предопределяет его непоколебимость и прочность.

Б. Кармаль рассказал о мерах, осуществляемых в ДРА по нормализации положения в стране, глубоких социально-экономических преобразованиях, которые проводятся под руководством НДПА в интересах трудящихся, о большой работе НДПА по достижению целей апрельской революции, расширению базы партии и ее связей с народными массами. Он выразил благодарность руководству КПСС и Советского государства, всему советскому народу за всестороннюю помощь афганскому народу в строительстве новой жизни и поддержку в борьбе против непрекращающегося империалистического вмешательства во внутренние дела Афганистана, в защите дела апрельской революции, против иностранной интервенции.

Л. И. Брежнев горячо приветствовал достижения НДПА в партийном и государственном строительстве и пожелал афганским друзьям новых успехов в этой работе.

16 октября в Большом Кремлевском дворце было подписано Заявление Советского Союза и Демократической Республики Афганистан.

Документ подписали Генеральный секретарь ЦК КПСС, Председатель Президиума Верховного Совета СССР Л. И. Брежнев и Генеральный секретарь ЦК Народно-демократической партии Афганистана, Председатель Революционного совета и Премьер-Министр Демократической Республики Афганистан Б. Кармаль.

На церемонии подписания документа присутствовали:

с советской стороны — товарищи Ю. В. Андропов, А. А. Громыко, А. П. Кириленко, А. Я. Пельше, М. А. Суслов, Н. А. Тихонов, К. У. Черненко, М. С. Горбачев, П. Н. Демичев, В. В. Кузнецов, Б. Н. Пономарев, М. С. Соломенцев, В. И. Долгих, М. В. Зимянин, заместители Председателей Президиума Верховного Совета СССР и Совета Министров СССР, министры СССР, председатели государственных комитетов СССР, другие официальные лица;

с афганской стороны — товарищи С. А. Кештманд, С. М. Зерай, А. Ратебзад, Ш. М. Дост, М. Рафи, М. Барьялай, другие официальные лица.



В зале заседания Верховного Совета СССР. Фото Дм. Бальтерманца и А. Гостева

22 октября в Москве, в Большом Кремлевском дворце, открылась четвертая сессия Верховного Совета СССР десятого созыва.



В ЗАКРОМАХ РОДИНЫ — КАЗАХСТАНСКИЙ МИЛЛИАРД!

ЖАТВА ЛЕГКОЙ НЕ БЫВАЕТ

На нивах одной из крупнейших наших республик — Казахстана в завершающем году пятилетки одержана новая трудовая победа. Выращен и организованно убран хороший урожай — в государственные закрома засыпано 16,4 миллиона тонн, или более 1 миллиарда пудов зерна. В текущей пятилетке от хлеборобов Казахстана страна получила в среднем за год по миллиарду пудов зерна, тем самым значительно превысив задания пятилетнего плана.

Генеральный секретарь ЦК КПСС товарищ Л. И. Брежнев тепло поздравил трудящихся республики с замечательным успехом.

У минувшей страды — тысячи героев. Наш рассказ — о передовиках уборки урожая в кустанайском совхозе «Рассвет».

Ю. ЛУШИН

Фото автора

Да, жатва легкой не бывает. Перед вылетом в Кустанай позвонил в обком партии:

— Как дела?

— Хорошо, но кусочек алма-атинского солнца не помешает. Если можешь — захвати.

Ах, если бы я мог! Если бы мог кто-нибудь...

Нынешний год начинался для хлеборобов целины тревожно (впрочем, какой из них был безмятежным?). В середине лета я побывал в нескольких областях республики. Дождей здесь не было с мая, жара стояла несусветная. Агрономы хмуро смотрели в небо, там и намека на облачко не было. О видах на урожай и не заговаривали...

Дожди пошли, когда их перестали ждать,— в конце июля, а в иных местах — даже в начале августа. И воспрянул к жизни колос, вместе с животворной влагой вливалась в него сила земли, наливались и твердели зерна, радуя душу земледельца. Теперь уже агрономы, не таясь, прикидывали, что даст на круг то или иное поле, прикидывали и дивились щедрости целинной нивы.

Едем по полям Тарановского района. Ночью прошел дождь, скошенные валки пшеницы лежали по обе стороны дороги, грезили о комбайнах, но комбайны пока стояли, ждали своего часа, ждали, когда просохнут валки. Низкие тучи стелились над полями, мечтавшими о солнце.

— Вот же змей,— сказал секретарь райкома Тохтарбай Кадамбаев,— когда его ждешь — его нет, а когда он не нужен — он тут как тут...

Я понял, что змей — это дождь. Однако, несмотря на его козни, уборочная в районе близилась к концу. От Кадамбаева я уже знал, что в Тарановском пятилетний план сдачи хлеба государству выполнен еще в прошлом году и нынешняя жатва — вся сверхплановая. Это, впрочем, ни в коей мере не уменьшало старания и самоотверженности людей. Изумили меня поля совхоза «Рассвет», на которых собирали в среднем по 23 центнера с гектара, а на некоторых участках даже по 36 центнеров. Чтобы понять мое изумление, нужно знать, что почвы в районах одни из самых бедных на Кустанайщине, что соседи «Рассвета» получают урожаи, как правило, вдвое меньше и что плановая урожайность по району менее десяти центнеров.

— Что же это за кудесники из «Рассвета», заговаривают, что ли, они свою землю?— все допытывался я у секретаря райкома.

— Сейчас увидите,— улыбался он.

И я их наконец увидел. У кудесников были обветренные лица и усталые глаза, но настроение, несмотря на непогоду, отличное. Не чинясь, они мигом накинули на плечи вечные свои телогреечки и без долгих слов повезли меня прямо в поле. Там присели у скошенного валка, приподняли тяжелый сноп пшеницы, залюбовались ею, забыв обо мне. Пшеница и впрямь была богатырская, такая, что поневоле залюбуешься. Благородная тяжесть колосьев сгибала стебли, и колосья, казалось, звенели, соприкасаясь друг с другом. Потом один из кудесников, агроном Георгий Савельевич Савченко, размял колос в огромных своих ладонях, провеял зерна, пересчитал их и сказал без удивления:

— Двухсотпудовый урожай у нас тут нынче...

— Но как же вы добились этого, ведь по всем понятиям засуха была?— спросил я.

— Высокая культура земледелия — это раз,— ответил второй кудесник, бригадир полеводческой бригады Николай Григорьевич Шевченко,— почвозащитная система земледелия — два, самоотверженность людей — три. Есть и другие причины, но эти главные.

— Вот, взгляните повнимательнее на поле,— посоветовал Савченко,— ничего необычного не замечаете? Дело в том, что мы ведем сев перекрестным способом. Одно это дает прибавку урожая на три-четыре центнера. Не все у нас этот прием пока применяют, а зря...

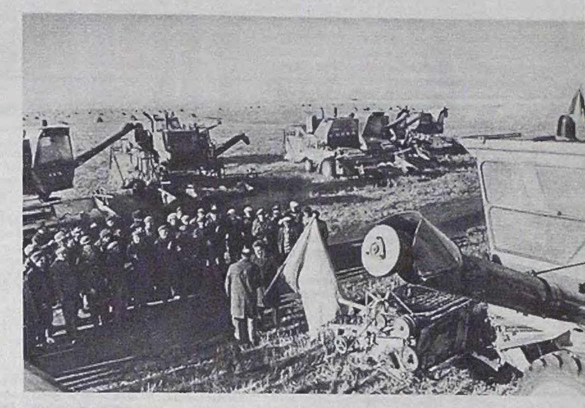
К вечеру вольный пастух природы — ветер угнал куда-то стаи туч, появилось долгожданное солнце, и, словно по его сигналу, пошли по полям комбайны...

Когда хлеборобы Тарановского района завершили жатву, для многих из них страда продолжилась на полях соседних районов. Туда уезжало, например, в полном составе знаменитое уборочное звено Героя Социалистического Труда Александра Иосифовича Казачонка из совхоза имени Майлина, уезжал рекордсмен района по намолоту комбайнер-виртуоз Михаил Ковалев, уезжали другие.

Казахстанские хлеборобы обещали дать Родине и в этом году миллиард пудов хлеба и слово сдержали. Теперь об этом знает вся страна. Но не все, возможно, знают о том, что самая щедрая житница Казахстана — Кустанайская область — завершила жатву также рекордом — своим миллиардом пудов хлеба за пятилетку.

Потому шли и шли по полям Кустанайщины и других северных областей республики комбайны, пока хоть один хлебный колос стоял в поле. Они шли до победы.

Алма-Ата — Кустанай.



Ударно несли хлебную вахту механизаторы совхоза «Рассвет». Знамя — передовикам.

Один из лучших комбайнеров совхоза и Тарановского района Михаил Ковалев.





КЛАСС ТОЧНОСТИ

Б. СМИРНОВ



Молодой человек в белом халате, улыбаясь, протянул руку для знакомства.

— Женя... То есть, простите, Евгений Леонидович Иванов, бригадир сборщиков второго цеха завода «Манометр». У нас, знаете, «бригадир» — довольно условное понятие, потому что план дается не на бригаду, а на каждого человека, и каждый отвечает за свою продукцию. Так что вернее сказать, что я просто один из сборщиков...

Есть люди, которые сразу располагают к себе своим открытым и веселым нравом, своей, что ли, доброжелательностью. Мне показалось, что Евгений Иванов как раз из их числа. И здесь, в репортаже о подготовке московских рабочих к XXVI съезду КПСС, эта грань характера потребовалась мне вовсе не как деталь в описании героя. Напротив, именно его открытость помогла мне понять, почему вот он, Женя Иванов, зарекомендовал себя на заводе одним из инициаторов рабочих починов.

Мы часто слышим и произносим эти слова: рабочий почин, трудовая инициатива. Привычные слова, но не все в них до конца бывает понятно. Ведь работают люди, в полную силу работают, а потом вдруг заявляют: можем и будем работать еще лучше. Неужели это «вдруг», обычно приуроченное к какому-то событию, специально приберегается для подходящего случая? Выходит, будто человек работает не в полную силу, а только делает вид и лишь в нужный момент, как говорится, открывает карты: вот я какой, вот что еще могу! Если так, то можно ли все это сочетать с высокими идеалами, которым такая работа посвящается?

С такими вопросами, понятно, обратишься не к каждому, еще обидится человек — мол, я стараюсь, а тут всякие рассуждения... С Ивановым об этом говорить было легко, он сам словно шел навстречу своими ответами.

— Конечно, десять раз подумаешь, прежде чем какое-то обязательство на себя взять. Тем более у нас: собираем точные приборы, никакой, как говорится, самодеятельности. Но ведь каждый знает себя, чувствует, на что способен, верно? А рабочая гордость, трудовые традиции коллектива тоже не пустые слова. Вот не так давно прочитали в газетах: в Венгрии готовится очередной партийный съезд. А мы на их предприятия свои приборы поставляем. И что получается: там праздник, всеобщий подъем, а мы — как же, в стороне? Надо бы и нам праздник друзей отметить. Только чем? Ну, дадим больше продукции, а венграм-то что от этого? Я и предложил: давайте будем делать приборы более высокого качества! Увеличим срок гарантии, повысим класс точности... Так и решили. Весь цех по-новому стал работать, ведь это не шутка — до тех пор выпускали приборы класса точности 0,7; а стали делать класса 0,3. Значит, прибор работает более четко, позволяет точнее контролировать процессы, а наши манометры где только не стоят, почти в любом производстве они применяются. Венгры, конечно, довольны, приглашают к себе нашу делегацию, мы их — в Москву, на «Манометр»... Понимаете, в работе стимул должен быть, тогда начинаешь строже к себе относиться, ответственнее, и тут оказывается, что ты можешь выполнять свою работу по-новому. Лучше! Вот в этом я вижу смысл починов. Это прежде всего духовный рост, это — движение вперед, что ли...

— Вы, наверное, так же расцениваете почин «XXVI съезду КПСС — 26 ударных недель»?

— Конечно! Что и говорить, этот почин не был для нас неожиданностью, мы заранее знали, что будем принимать к съезду новые повышенные обязательства — такова традиция. Только «знать» — мало, мы задолго готовились к тому, чтобы по-настоящему стать на ударную вахту. Вы, наверное, слышали: весь коллектив «Манометра» решил выполнить пятилетку досрочно, с начала этого года сверхплановой продукции изготовлено более чем на 800 тысяч рублей.

— Ну, а ваш личный вклад?

— Дать годовой план к седьмому ноября. У нас многие сборщики такие обязательства приняли, ну, а мне как председателю депутатской группы завода подавно отставать нельзя. Кстати, заводские депутаты все как один меня поддержали...

Мы заговорили об общественных заботах Евгения, и тут оказалось, что вне заводских стен жизнь у него, может, даже более напряженная, чем в своем цеху: прием избирателей, работа в районной комиссии по охране окружающей среды и благоустройству, рейды по дворам, строительство детских площадок... Причем привычное определение «общественная нагрузка» здесь никак не подходило, Евгений говорил о районных проблемах с таким вдохновением и знанием дела, словно благоустройство города и было его основной специальностью. И есть еще семья, дом, где надо успеть разобраться в не решенных дочерью задачках и найти время покататься с сыном на речном трамвае... А я, слушая Евгения, думал о том, что человек равнодушный, несобранный не смог бы вот так увлечь работающих рядом какой-то новой инициативой, думать масштабами не только своей трудовой нормы, но делами всего завода, всей страны. Кстати, о нормах: Евгений между делом упомянул, что ему иногда приходилось в день сдавать по нескольку десятков приборов. «А норма какая?» — спросил я. «Норма? Пятнадцать штук надо оттарировать...»

Все изложенное ранее было бы неправомерно в разговоре о рабочих починах москвичей, если бы на том же «Манометре» не нашлось, скажем, еще не менее десятка таких же работников, как Евгений Иванов. Может, и больше. И сам Иванов все время пытался «уйти от ответственности» в интервью — вот, говорил он, рядом Володя Киселев работает, Саша Майоров — они то же самое расскажут. В десятом цехе — Герой Социалистического Труда Василий Александрович Доброхотов, в шестнадцатом — отличник приборостроения Виктор Васильевич Борин, в третьем цехе по 120 процентов в смену дает ветеран завода Анна Яковлевна Колтомова...

О ветеранах завода следует сказать особо — ими гордятся на «Манометре». Ведь многолетний стаж рабочих, если разобраться, говорит о многом — о крепких трудовых традициях предприятия, о ритмичности, о хорошо организованном быте. «Манометр» в столице да и вообще в приборостроении — на видном месте. Конечно, ветераны есть на любом предприятии, и все же неожиданно было попасть на участок, где работают почти сплошь кадровые рабочие.

Небольшое помещение, высокие окна, выходящие на Яузу,— этот цех построен недавно, он самый молодой на заводе, которому скоро предстоит отмечать столетие. Здесь тихо, почти повсюду над приборами — склоненные седые головы. Участок, где собирают манометры повышенного класса точности, сам собой «отобрал» сюда самых опытных, самых знающих специалистов — не зря работающих тут называют «академиками». На «Манометре» многие сборщики годами мечтают попасть сюда.

Рабочий стол заставлен приборами. Никак не скажешь, что они миниатюрные, но движения человека, склонившегося над установкой, чем-то напоминают действия часовщика или ювелира. Тонкими, почти ласкающими прикосновениями маленькой отвертки трогает он какой-то винтик в недрах механизма — и стрелка на шкале манометра чуть сдвигается к нужной риске. Еще немного, еще... Даже трудно представить, что эта стрелка регистрирует огромные перепады давления — от вакуума до шестисот килограммов. Наконец, прибор отлажен. Слесарь-механосборщик делает отметки в паспорте манометра, берет в руки следующий. Сейчас самое время познакомиться, потом будет некогда.

— Виктор Иосифович Карпов. Да, можно считать, ветеран, работаю на «Манометре» с тридцать шестого года, после ФЗУ. И все время в этом цехе...

Виктор Иосифович неторопливо, обстоятельно рассказывает о себе, а руки его тем временем закрепляют прибор, что-то подтягивают, выверяют. Кажется, человек, привыкнув за десятилетия к своему ритму работы, уже не сможет трудиться, если потребуют обстоятельства, быстрее, но Виктор Иосифович, когда я ему об этом сказал, только рассмеялся.

— Сможем, да еще как! Бывает, устраивают нам вынужденные простои, не успевают вовремя давать комплектующие детали, после таких простоев приходится, как говорится, уплотнять время, самих себя подгонять. Качество? На этом участке одна ошибка стоит работы всего прибора, нам нельзя ошибаться — за последние годы, кажется, ни одной рекламации по нашим манометрам не было. Да, к съезду все социалистические обязательства пересмотрены, лишь бы простоев нам не создавали, а уж что от каждого из нас зависит — выполним, не сомневайтесь. Вот, Миша Панкин, мой товарищ еще по ФЗУ, Василий Павлович Аксенов, Юрий Васильевич Марков — они подтвердят. Марку «Манометра» не уроним...

Вот и еще одна неделя вошла в строй двадцати шести ударных недель, посвященных XXVI съезду КПСС...

Юрий ВЕРЧЕНКО,
Владимир КАРПОВ

НОВАЯ ЭРА ДРЕВНЕЙ СТРАНЫ

Перелетев через седые снежные вершины Гиндукуша, будто не на самолете, а в фантастической машине времени, мы перенеслись не только в другое государство, в его столицу Кабул, но и в другие времена.

Сколько повидал и пережил этот город! Его разрушали Чингисхан и английские колонизаторы, сделал своей столицей «Великий могол» Бабур. Сегодня в Кабуле больше шестисот тысяч жителей. Наверное, нет на свете города, где так перемешаны культуры, общественные отношения. Об этом говорит даже внешний облик города. Мчатся по улице «шевроле», «форды» и «Волги» самых последних моделей, по той же дороге тянут тяжело груженные арбы впрягшиеся в них люди. Рядом спешат по тротуару женщины в чадрах и модницы в джинсах, кустари из белой жести делают чайники, а в соседнем духане — самые современные транзисторы.

Кабул — город живой истории, он один из тех уголков на земном шаре, где сплелись в сложный клубок интересы и противоречия афганских племен, классов, народностей, где в напряженной борьбе прогрессивные демократические силы сражаются не только с внутренней контрреволюцией, но и с бандами, обученными, вооруженными и поддерживаемыми Соединенными Штатами, Китаем, Пакистаном, которые пытаются осуществить на афганской земле свои империалистические, гегемонистские, колониальные и просто грабительские замыслы. Всех их — и внутренних недругов и пришельцев с чужих земель — афганский народ называет одним словом «душманы» — враги. Их, к сожалению, еще много, но нет сомнения — близок день, когда на всей афганской земле воцарится спокойная трудовая жизнь.

Народно-демократическая партия Афганистана (НДПА) делает все, чтобы приблизить эти дни. Афганский народ, осуществляя призывы НДПА, со свойственной ему мудростью говорит о некоторых темных, пока еще не прозревших соотечественниках: «Из-за блох шубу не выбрасывают», «На один глаз слеп, а второй рукой закрывает», «Глупый не столько вредит другим, сколько себе».

Хоть и нелегка борьба с врагами, хоть еще звучат выстрелы на окраинах города и на границах, через которые лезут бандиты, все чаяния НДПА и афганского народа устремлены к социальным преобразованиям, укреплению и процветанию молодой демократической республики, к наверстыванию того, что упущено за годы феодальной отсталости. Полным ходом идет ликвидация неграмотности, ведь недавно абсолютное большинство народа не знало ни буквы (более 90 процентов). Идут занятия в школах и высших учебных заведениях.

Заботясь о расцвете культуры, мобилизуя на эту благородную деятельность интеллигенцию страны, активизируя работников печати, артистов, прогрессивную молодежь, НДПА провела в этом году огромную организаторскую работу. В Афганистане созданы Союз журналистов, Союз работников искусств. Недавно с большим подъемом и успехом прошел форум демократической молодежи, в котором приняли участие делегации многих стран.

И вот для участия в первом учредительном съезде писателей Афганистана прибыла делегация советских писателей в составе авторов этих строк и К. Селихова, Ш. Ниязи, В. Феофановой.

В дни подготовки съезда у нас было много встреч, бесед, пресс-конференций, выступлений и просто разговоров с людьми самых разных профессий, общественного положения, политических и религиозных взглядов и, конечно же, очень разных вкусов, интересов, симпатий и антипатий в вопросах культуры, искусства и литературы. И всюду, во всех разговорах — свои проблемы, проблемы, проблемы! И вопросы: как их разрешить? Вот, для краткости, всего несколько примеров.

В Главном политическом управлении идет беседа с офицерами афганской армии. Песочного цвета кители, красные погоны с золотыми выпуклыми знаками различия — большинство старшие офицеры, многие из них служили еще и при короле. Говорили о многом и, конечно же, о проблеме перехода офицеров старой армии на сторону революции. С большим вниманием и интересом слушали афганские офицеры рассказ Владимира Карпова о том, как прогрессивно настроенные патриоты, служившие в царской армии, конечно, не просто, не без трудностей и внутренней борьбы, переходили на сторону революции и затем долгие годы служили честно советскому народу. Бывший полковник царской армии Шапошников стал Маршалом Советского Союза и начальником Генерального штаба, бывший подпоручик Говоров вырос в крупного советского полководца, Маршала Советского Союза. Таких примеров очень много.

Мы беседовали с членом Политбюро, секретарем ЦК НДПА Салехом Мухаммедом Зераем. После подробного обмена мнениями по поводу многих проблем развития культуры и литературы Зерай сказал:

— Вот мы с вами видим, что уровень культуры тесно связан с уровнем социально-экономического развития страны. И поскольку у нас пока этот социально-экономический уровень невысок, мы придаем огромное значение и вашему опыту и вашей помощи. После 60 лет успешного строительства нового общества Советская страна стала не только одной из мощных в мире в экономическом отношении, но и центром мировой прогрессивной культуры. Как приложить ваш богатый опыт к нашей действительности? Просто механически его перенести в Афганистан невозможно. Вот мы все вместе думаем и ищем реальные пути... Думаем и ищем...

Вечер в Культурном центре, встреча с писателями Кабула, их много — более 100 человек. Разговор идет и общий и затем небольшими группами. Здесь люди самые разные, не только по творческим взглядам, но и по общественному положению: член Политбюро ЦК НДПА Султан Али Кештманд, писатель и революционер, прошедший через тюремные застенки и пытки; красивый и элегантный поэт Рахнавард Зарьяб, работник министерства культуры и информации; поэт старшего поколения Ильхам, профессор, преподаватель университета, и многие другие опытные и уважаемые писатели Кабула. Общее настроение и направление разговора точно подметил Кештманд:

— Мы встретились в «Доме дружбы» — это символично, и этим все сказано!

В редакции газеты «Правда Саурской (Апрельской) революции» главный редактор, член ЦК НДПА Махмуд Барьялай познакомил нас с работниками редакции и подарил первый номер своей газеты. Газета существует не так давно. Тут проблем, как говорится, выше головы. Энергичный и порывистый Барьялай весело говорит:

— Как мы выходим, сам удивляюсь. Пока все на революционном энтузиазме. Не хватает бумаги, трудно с типографией, все присутствующие работники редакции не имеют определенных окладов. Но несмотря ни на что, мы выполним задачи, поставленные НДПА, и народ уже принял нашу газету!

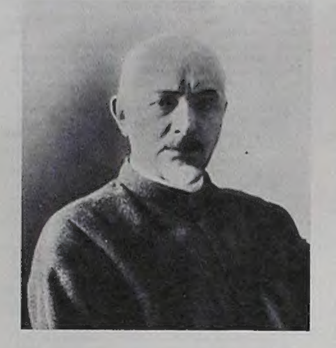
Работники афганского радио и телевидения, студенты политехнического института, кстати, построенного и подаренного Советским Союзом, встреча с Гияси, первым секретарем ЦК Демократической организации молодежи Афганистана, и его коллегами; хороший, откровенный разговор со студентами университета и их педагогами — все это с каждым часом не только сближало нас, но и расширяло кругозор в понимании обстановки, событий и перспектив в стране.

Особенно запомнилась, и поэтому хочется рассказать о ней подробнее, встреча с писателями, прибывшими на съезд из провинций. По нашим понятиям, в этом нет ничего особенного: сели они в самолет или автобус и приехали. Однако для сегодняшнего Афганистана это не только трудное, но и опасное дело. В «Доме прессы» в просторном, отделанном серым мрамором и поэтому прохладном зале нас встретили около тридцати афганских писателей. Они были одеты по-разному: некоторые с чалмами на головах, в национальных рубахах и шароварах, другие в цветных халатах, третьи в обычных европейских костюмах, при галстуках.

По их просьбе глава советской делегации рассказал, какой путь становления и развития прошла советская литература после Октябрьской революции. Афганские писатели сначала слушали рассказ спокойно, одобрительно

Окончание см. на стр. 28.

Надежда КОЖЕВНИКОВА



ОБРАЗ ВРЕМЕНИ

Николай Алексеевич Касаткин, представитель младшего поколения блистательной плеяды художников-передвижников, как никто другой, наслушался в свое время упреков за тенденциозную направленность своего творчества. Само слово «тенденциозность» звучало в устах многих тогдашних критиков бранно, уничижительно, как бы противопоставлялось истинной сущности искусства. Впрочем, и по сей день ведутся споры, обнаруживающие различные трактовки понятия тенденции как таковой.

Вот что написано Добролюбовым: «Художественное произведение может быть выражением известной идеи не потому, что автор задался этой идеей при его создании, а потому, что автора его поразили такие факты действительности, из которых эта идея вытекает сама собой».

Высказывание это могло бы стать эпиграфом к творческому наследию Касаткина, художника откровенно тенденциозного, поглощенного идеей, в которой он не считал нужным ни перед кем оправдываться, но которую всю жизнь защищал.

Автор «Шахтерки», «Ткачихи», «Жены заводского рабочего», «Углекопов» первым в нашей отечественной живописи показал и воспел нового героя — рабочего, пролетария.

Герой этот был тогда самым бесправным, самым унижаемым, и таящаяся в нем мощь, душевная цельность, сила правоты еще не раскрылись со всей очевидностью.

Касаткина к такому герою вывело точное социальное чутье, родившее в его душе благородный гнев — чувство оскорбленной справедливости. В своем творчестве он как бы повторил слова, сказанные Тургеневым: «Я не мог дышать одним воздухом, оставаться рядом с тем, что я возненавидел; для этого у меня, вероятно, недоставало надлежащей выдержки, твердости характера. Мне необходимо нужно было удалиться от моего врага затем, чтобы из самой моей дали сильнее напасть на него. В моих глазах враг этот имел определенный образ, носил известное имя: враг этот был — крепостное право. Под этим именем я собрал и сосредоточил все, против чего я решился бороться до конца, с чем я поклялся никогда не примириться...»

Для художника врагом, столь же отчетливым, столь же ненавистным, сделался уже сам господствующий государственный строй, русское самодержавие, и во всех дореволюционных работах мастера лицо этого врага зримо.

Понятно, что такая живопись коренным образом отличалась от привычной, традиционной. Сам Касаткин писал: «В общем буржуазном понятии о картине предполагается, что она должна доставлять радость красок и отражать приятное среднее явление жизни. Автор (то есть он, Касаткин. — Н. К.) пришел к мысли, что надо взять такую форму жизни, где бы самый цвет, самые краски тоже выражали бы протест, тоже уклонялись бы от общепринятых традиций, как и сама тема».

Предельная осознанность выбора, не так ли? Протест — вот какой заряд несли в себе эти картины, в каждой из которых под внешней сдержанностью угадывалась внутренняя страстность, пафос отрицания, который ни в коей мере не носил отвлеченный характер, а соразмерялся с самой действительностью, изучаемой художником с тщательностью ученого-социолога. Он не просто пишет портрет хорошенькой швеи, он з н а е т, сколько швея-белошвейка получает в месяц: «5—7 рублей в месяц на готовых харчах, с условием спать где придется у хозяев, работать с 6 часов утра, а кончать в 12 часов ночи, в зависимости от работы, а перед праздниками и всю ночь напролет».

Подобная осведомленность говорит не только о своеобразии метода работы художника, но и о времени, об эпохе, сформировавшей его личность, о предгрозовой атмосфере, обострившей все противоречия в тогдашнем общественном укладе, социальную несправедливость которого уже невозможно оказывалось скрыть.

Сведения о быте, бытии своих героев живописец добывал не специально, не заданно, материал этот, что называется, генетически был заложен в нем самом и зрел, накапливался, ожидая анализа. А это большая удача для художника, когда позиция его, выбор, цель не только глубоко осмыслены, но и связаны органически средой, его воспитавшей, с тем душевным опытом, что наследуется из поколения в поколение, как эстафета передается от отца к сыну.

Николай Касаткин родился в семье мещанина Сергиевского Посада, окончившего московское Училище живописи, ваяния и зодчества и получившего звание классного художника. Мать была родом из бывших крепостных. Жили в районе, описанном Гиляровским, между Сретенкой, Цветным бульваром, Садовой и Рождественским бульваром, где селились в то время люди так называемых свободных профессий — иначе, пролетарии от искусства. Квартал этот как бы осенялся Сухаревой башней, высокой, видной издалека, знаменитой своей толкучкой, где сбывались «стыренные» вещи, но где рядом со скупщиками краденого действовали и весьма искушенные ценители — антиквары, букинисты. Суетный, пестрый, азартно-скандальный мир Сухаревки, а рядом, но будто совершенно отдельно, в ином вращении, существовал мир Трубной площади, звенящий фиоритурами певчих птиц и визгливым собачьим лаем, гусиным клекотом, нытьем и рыком разнопородного зверья,— мир вроде праздничный, веселый и вместе с тем полный щемящей тоски, вызванной почти человечьей печалью в глазах животных и собачьей грустью в глазах людей.

Чудовищное по смыслу выражение б ы в ш и е л ю д и находило объяснение, подтверждение, пожалуй, именно в таких кварталах. Дно человеческого существования обнажалось здесь, как нигде. Обнажалась вся жесткая конструкция миропорядка, обращающего людей в скотов: сеть грошовых питейных заведений, публичных домов последнего разряда опутывала эти обители бедноты. Но, как ни удивительно, в атмосфере гибельной, разлагающей рождались и характеры великой жизненной стойкости, поразительной внутренней собранности, душевной дисциплины.

Отец Касаткина запомнился будущему художнику как бы постоянно пришитым к специальному столу, за которым он занимался граверными работами. И сыну он выделил рядом столик, отнесясь к ребячьему увлечению отнюдь не как к баловству. С пятилетнего возраста, можно считать, началось его обучение азам ремесла. Но главное, что было всего важнее,— сама обстановка в доме воспитывала в ребенке серьезное, уважительное отношение к профессии, основой которой виделся труд, труд и труд.

Понимание искусства как преодоления, заложенное с детства, Касаткин пронес через всю жизнь. Он сам говорил, что ищет сюжеты, которые, кроме него, никто писать не станет. Он добровольно обрекал себя на трудности, чувствуя, вероятно, высшим инстинктом, что призван именно к этому — быть первопроходцем.

Он поступил в Училище живописи, ваяния и зодчества, когда там преподавали Перов, Саврасов, Прянишников — убежденные пропагандисты идей передвижничества. Особенно близкие, дружественные отношения установились у Касаткина с Перовым. Перов даже написал портрет своего ученика, помеченный 1876 годом. На нем изображен юноша с очень серьезным, даже каким-то болезненно-сосредоточенным лицом, отчего на его широком открытом лбу пролегает преждевременная морщина, а губы в детской еще припухлости. Торчит хрящеватое «гимназическое» ухо, но в темных глазах с опущенными книзу уголками сосредоточенное раздумье.

Дипломная работа «Нищие на церковной паперти» определила направление поисков молодого художника, его интерес к жизни простого народа, обнаружила и некий особый акцент, отличающий картину от многих, написанных на подобную тему. Акцент этот — в социальной

Н. Касаткин. 1859—1930. ШАХТЕРКА. 1894.

Государственная Третьяковская галерея



Н. Касаткин. СОПЕРНИЦЫ. 1890.

Государственная Третьяковская галерея

конкретности персонажей. Касаткин написал не вообще нищий люд, попрошайничающий по тем или иным причинам, а вчерашних крестьян, разорившихся, доведенных до последней стадии нужды и стыдящихся откровенного вымаливания копейки, потому что привыкли всю жизнь трудиться — горбом зарабатывать себе на хлеб.

Тема разоряемой деревни, крестьянства, оторванного от вековых корней и теряющегося в столкновении с чуждым, во многом для них непонятным городским укладом, продолжилась и в последующих работах живописца—в «Перекупке», «Большой дороге» и в «Девушке у изгороди», на которой изображена, может быть, прислуга, а может быть, швея, с совершенно отчетливым деревенским происхождением, угадывающимся в деталях, зорко схваченных художником. Фигура девушки высветлена, почти растворена в летнем, знойном, трепетно-солнечном воздухе, но ее как бы притягивают к земле несуразно большие, тяжелые, разношенные башмаки. Она облокотилась об изгородь в вольно расслабленной позе, наслаждаясь минутным покоем, и вместе с тем в ней заметна застенчивая скованность, девическая неловкость, особенно в руке, опущенной вниз и держащей платок, только что стянутый с головы,— это узнается по рисунку волос, слегка примятых, с выбившимися тонкими прядями.

Об этой картине много писали и много расточали ей похвал — за высокую живописную технику, за великолепно найденный колорит,— хвалили даже те, от кого обычно мастер слышал ругань. Но в лестных оценках тогдашней прессы нельзя не расслышать отголосков былого недовольства, а также явственный намек: мол, когда Касаткин перестал изображать сирых и обездоленных, а обратился к светлой, радостной стороне жизни, запел свободно, беспечно, как и положено артисту, вот тут и встретил его успех. Его, так сказать, мягко, вкрадчиво журили, будто заблудшего, но все же наконец вернувшегося в стадо.

Так было и с картиной «Соперницы». В отзывах проскальзывали те же наставительные нотки, за похвалой всплывало недовольство упрямством художника, не желающего сознавать якобы ошибочность избранного им ранее пути.

Но ошибку допустили сами критики: признав его высокое мастерство, они расписались в собственной необъективности. Ведь прежде, недовольные материалом, темой, избираемой художником, они упрекали его в недостатке таланта, убогости живописного дара, неумении, невладении техникой. Он доказал им, что и владел и умел.

«Соперницы». По-зимнему низкое сиренево-густое небо и белый, сверкающий, впитывающий в себя все радужные блики снег. Широкая деревенская улица, по которой движутся с ведрами наперевес две местные красавицы. Горят на снегу их бархатные, почти осязаемые — до последней ворсинки — короткие тулупчики, яркие платки на головах, юбки пестрые, в оборках. И как бы слышатся их хрусткие по морозцу шаги, и холод щиплет их крепкие свежие щеки. Они подруги? Нет, соперницы.

Великолепно написанный пейзаж сочетается в этой картине с точной психологической разработкой характеров. Действующих лиц всего трое (вдали виднеется мужская фигура, вероятно, тот самый предмет соперничества), но драматургия сюжета зрителем осознается мгновенно.

Соперницы ведут неспешный разговор, будто вполне доброжелательный, но полный недомолвок. Затаенно-ревностный, жаркий взгляд одной и то, как другая притворно-смущенно потупилась, дают повод угадать нам, кто в данный момент победительница. Но возможен и иной поворот...

Картина эта создана в 1890 году, зрелость мастера здесь уже несомненна. И так легко, казалось бы, поддаться уговорам, писать то, что имело сбыт и встречалось похвалой, но он, Касаткин, все так же верен своему принципу преодоления, будто специально ищет трудностей, отметая то, что дается легко.

Его поездка в Донбасс в 1892 году, изучение жизни рабочих-горняков стали итогом долгих поисков, раздумий. Открытию этой «страшной страны» сопутствовали другие трагические открытия: художник не боялся заглянуть в бездны людского горя.

Его картины «Перед отправкой в воспитательный дом» и более поздние «В коридоре окружного суда», «Арестантки на свидании» составляют особый цикл, в своей жестокой правдивости и социальной определенности близкий к творчеству раннего Горького. Живописец показывает уродство человеческого существования, людей, доведенных до края. Он уже ответил себе и объясняет зрителям, в чем корни зла, кто виноват, каковы конкретные причины подобных отклонений от норм, предписанных человеку изначально, самой природой.

Да, эти работы — подробное социологическое исследование действительности. Основательность этого исследования заключается в том, что, помимо констатации фактов, указывается и на причины их возникновения: что и почему. Вот это «почему» оказалось особенно грозным, пугающим для противников Касаткина. Снова они принимались его бить все тем же оружием: не умеет-де, не владеет, слаб его живописный дар, не радуют, не прельщают его картины.

А он уже осознал, что ищет, что хочет найти: «такую форму жизни, где бы самый цвет, самые краски тоже выражали бы протест, тоже уклонялись бы от общепринятых традиций, как и сама тема».

И он нашел свой Донбасс.

«Как и в прошлый год, сижу на шахте в этой страшной стране. У нас дождь и холод, потом тепло, потом страшный ветер, так что вся даль бурая,— день-два хорошей погоды в неделю. Сижу в хате да вспоминаю... Унылые шахтеры все так же бродят по степи, черные, как жуки. Миллионы пудов угля лежат без спроса, и шахта угнетена — мало слышно гармоники и визгу. Хотите картинку: знаете, клеть пролетает за 30 сек[унд] 80 сажен! В нее стал шахтер, почувствовавший себя нехорошо, для подъема кверху,— когда клеть дошла, то штаперный увидел только туловище, лежащее на спине, голова, руки, ноги обломались дорогой. Не худо здесь пожить — хотя очень хочется уехать».

«Как и в прошлый год...» И так в течение девяти лет. Короткие письма близким — и бесконечные зарисовки, этюды. Вширь и вглубь ведущееся изучение жизни, труда горняков. «Выборка угля беднотой», «Шахтер-тягольщик», «Интерьер надшахтного помещения», «Вагонетка с антрацитом», «Вагонетка с углем», «Подъемная клеть», «Шахтер с цепью на поясе», «Шахтер с обушком и лампой», «Шахтер-зарубщик», «Забойщик» — само такое перечисление говорит о весомости поднятого Касаткиным материала, о желании художника врасти в тему и только тогда сказать свое слово.

«Погода здесь, несмотря на юг, очень непостоянная. А люди, главное, люди! Тут надо веревки, не нервы, а у меня жалкие нитки. Через полторы недели должен себя насильно везти в шахту за натурой, которая и обманывает и издевается. Этюды скверные от той судорожной напряженности, с которой пишу с ошалевшего натурщика, замученного всеми неправдами».

И вот в 1896 году на очередной Передвижной выставке появилась монументальная, многофигурная композиция «Углекопы. Смена».

Серый, предрассветный час. Наземное помещение шахты. Клеть только что подняла одну партию шахтеров, и следующая партия ожидает своей очереди для спуска. Картина так черна, что приходится напрягать зрение, чтобы в нее вглядеться. Но не вглядываться невозможно — она притягивает, завораживает своей нервной пульсацией, тревожная и властная энергия как бы исходит от этого полотна.

И чернота уже не воспринимается сплошною, обнаруживает целую гамму оттенков, с вкраплениями желтоватых сполохов от ручных фонариков и фосфоресцирующего блеска глаз, горящих на черных от угольной пыли лицах шахтеров.

Касаткин долго искал и вот нашел эту особую гамму черных тонов. Композиция картины строго продумана. Каждая фигура — а тут целая толпа — воспринимается и совершенно отдельно, законченно, самостоятельно и существует в нерасторжимой спаянности со всем окружением. Впечатление такое, будто разверзлись двери в ад. Но в этом аду не только мучаются — работают в мучениях. Несломленный человеческий дух веет под низкими сводами. Взрывная мощь, бунтующая сила — вот что вызревает в этой преисподней.

«Горняк,— говорил Касаткин,— несмотря на всю свою отупелость, представлял буйный элемент, как человек, жизнь которого во время работы всегда находилась в опасности. Его высокая раздражительность и нервность составляли также его силу, насыщали его энергией; ждали только искры, чтобы обрушить эту [энергию.—Н. К.] на своего исконного врага».

Да, люди — вот что нашел и чем пленился Касаткин в той «страшной стране». Галерею его женских образов продолжил портрет «Шахтерка».

Она стоит, подбоченясь, закинув через плечо конец платка, и поразительно, как на фоне унылых, казарменного типа построек, из тусклой, серой одежды победоносно выступает ее женственность, ее стать, ее юная прелесть. Ни тени притворства нет ни в позе, ни во взгляде слегка прищуренных, смело, насмешливо устремленных прямо на зрителей глаз, ни в улыбке пухлого с изогнутыми уголками рта. В ней предельная свобода — такая, что дается уже осознанием себя, уверенностью в себе, пережитым опытом. И готовность рисковать и понимание нешуточности риска. Она победительница, даже если ее победа еще не стала очевидной для всех.

Победу, безусловную, одержал и художник. С таким внутренним зарядом он пришел к семнадцатому году. Ему не надо было перестраиваться, преодолевать сомнения — он приветствовал победителей, строителей новой жизни еще в ту пору, когда цепко держалась прежняя власть.

Его можно считать участником революционных событий. Своими картинами «Атака завода работницами», «После обыска», «Рабочий-боевик», «Беззаветная жертва революции», «Пролетарии» он в самом накале битвы ясно высказался, по какую сторону баррикад находится сам. А когда настала победа, свет хлынул на полотна художника. Черная гамма ушла из его картин, потому что исчезли из самой действительности факты, порождавшие черноту. Он пишет свою «Пионерку с книгами», девочку-подростка, с солнечно-рыжей копной волос, и лицо ее кажется золотистым, будто освещено пламенем костров. Она скуластенькая, с почти незаметными светленькими серьезно нахмуренными бровями, и ее важность, внутреннюю собранность художник отмечает с улыбкой, с явным к этой девчушке уважением.

Портрет поколения — вот что зрители находят сейчас в «Пионерке» Касаткина.

Великий Репин написал Касаткину в 1915 году: «...Вы так поэтически-человечно ставили, в дивной форме и в неожиданной обстановке — трагическое в жизни!.. Какой это великий вклад в культуру души человека! А какая драгоценность — Ваши откровения живописных красот в самых адски ужасных условиях быта людей... Вот великое назначение художника! Вот где его истинное бессмертие!.. Сколько бы ни жило человечество, чего бы ни пережило оно в будущем, Ваши вклады в сокровищницу образов времени вечно будут расти в своей ценности и интерес к ним никогда не зарастет плевелами — народ своими тяжелыми ступнями пробьет к ним столбовую дорогу».

«Пионерка с книгами», «Комсомолка-пионервожатая», «Красноармеец-часовой», «Комсомолка-рабфаковка» — образы уже другого, нового времени, которым художник спешил надышаться, которое торопился запечатлеть.

...Он скончался в 1930 году, в Музее Революции у своей картины «Карийская трагедия». У него давно болело сердце, но так страстно хотелось до последнего мига вбирать в себя новое время — его приметы, лица людей...



Будущие фельдшеры... В Калмыцком медучилище имени Т. Д. Хахлыновой.



Элиста — столица Калмыкии.

КАЛМЫЦКОЙ АССР — 60 ЛЕТ

Фото Г. РОЗОВА

В СОАВТОРСТВЕ С ЗЕМЛЕЮ И ВОДОЮ

Далеко-далеко степь за Маныч ушла... Степь калмыков, прижатая к Прикаспию, издавна получила мрачноватое название — Черные земли. И долгими десятилетиями Черные земли делились своим благодатным травяным привольем с соседями, чей скот нередко страдал от бескормицы. Калмыки — отличные скотоводы, они с полуслова понимают чабанов, попавших в нужду. Помню, как гостеприимно распахивались степные просторы республики для ав-




Табун в степи.





Выступает фольклорный ансамбль «Тюльпан».

токолони с овцами Дона и Ставрополья.

Теперь поубавились масштабы отгонного овцеводства, хозяева наладили за последние годы кормовые севообороты, улучшили стойловое содержание, подняли культуру многолетних пастбищ. Да и в самой Калмыкии скота стало куда больше, так что тесно на Черных землях, вековую дернину которых во многих местах вспорола сталь плугов. И тут в ход пошли сеяные травы, система удобрений, более грамотное животноводство.

При встрече с Калмыкией всегда оживает пушкинская строка: «И друг степей калмык...» И с детства отзывается в душе эхо этой строки: «Друг-калмык!» Возникает обожженное солнцем лицо одного из первых красных генералов, сидящего на золотом скакуне из старой песни,— лицо Оки Ивановича Городовикова, легендарного конника, славного сына калмыцкого народа. И хватка у Оки Ивановича, и усы, и отвага были буденновские! Кавалерийская лава гордилась бронзоволицыми рубаками на низеньких степных лошадках.

...В наше время калмыцкое междуречье Волги и Дона изменилось неузнаваемо. Распаханы ковыли, раскинулись пшеничные нивы, а там, где жарко горели костры геологов,— без устали трудятся качалки нефтедобытчиков. Стремительные, как стрелы, дороги пересекли пространство республики, там и тут поднялись белостенные современные города. А золотой скакун древней мечты о счастье скачет все дальше и дальше.

Элиста, столица калмыков, встречает прилетающих и приезжающих гостей новыми многоэтажными кварталами и зеленью улиц. Так счастливо сложилась судьба потомственных степняков, что они после Великого Октября прямо шагнули в социализм из веков феодально-патриархальных отношений. Не просто шагнули, но проявили к тому исторически осознанное устремление. В жажде жить единой жизнью с народами новой России сказались и национальное самосознание калмыков, их мужество и готовность одолеть, покорить пространство и время несмотря ни на какие превратности судьбы. Уже в самом начале 1918 года в Калмыкии была установлена Советская власть, а в июле того же года I Калмыцкий съезд Советов образовал Калмыцкий исполком.

Уходят в прошлое и примитивное кочевое скотоводство, и непременные кибитки степняков, и бездорожье, такое страшное в зной и буран. В Советской Калмыкии есть теперь своя развитая промышленность, есть прекрасные колхозы и совхозы, где торжествует долговременная оседлая жизнь новых поколений калмыков, есть и своя техническая интеллигенция, и свои высокие достижения литераторов и мастеров искусства. Расцветают тонкорунное овцеводство, искусство готовить кумыс, коневодство — традиционные отрасли народного хозяйства, которыми особенно гордятся калмыки. Хотя у них есть все основания так же гордиться и ковроткачеством и новыми предприятиями нефтегазовой индустрии. Известны в стране изделия швейников и мебельщиков из Элисты.

Золотые плоды взрастила за шесть трудовых десятилетий социально-историческая нива. К ней, этой ниве, обратился с песней сын Калмыкии Давид Кугультинов:

И я любуюсь ею, рядом стоя,
Так, будто сам, с волнением,
тоской,
В соавторстве с землею
и водою,
Замыслил некогда ее такой.

Такой, какая она есть, задумали калмыки свою солнечную, помолодевшую сторону, а сделали ее такой в соавторстве, в содружестве с плодородной землей и водой, проведенной ирригаторами. И вторят калмыки своему поэту: «Огни Грядущего видны в стекле былого зримо: в нас, в нашу жизнь воплощены, горят негасимо». Их много, этих огней в междуречье Дона и Волги, на земле калмыков.

Н. ШАТОВ

УКРАСИТЬ СВОЮ ЗЕМЛЮ

Сергей МАРКОВ

Он жил долго, трудно и счастливо. «...Как помню себя, всегда и всецело был поглощен только одним стремлением к занятиям выращивать те или другие растения, и настолько сильно было такое увлечение, что я почти даже не замечал многих остальных деталей жизни; они как будто все прошли мимо меня и почти не оставили следов в памяти»,— вспоминал И. В. Мичурин.

Из-за бедности смог доучиться лишь до четвертого класса гимназии. Сам изучил физику, химию, математику, астрономию, медицину, французский, английский и немецкий языки.

Мечтал украсить свою землю. Трудился не покладая рук. Искал. Находил. Ошибался и опять искал. Уже во второй половине жизни твердо понял, что действительно улучшить наши сорта яблок, груш, вишни, крыжовника, абрикосов можно, лишь соединив в одном плоде или ягоде лучшие качества, которыми наделила природа разделенные порой тысячами километров сорта. И этим методом добился потрясающих результатов. Мичурин «закалил» дерево, заставил выживать в лютые морозы и осенью приносить людям радость. В 1898 году Всеканадский съезд фермеров, собравшихся после суровой зимы,— сообщал канадский профессор Саундерс,— констатировал, что все старые сорта вишен как европейского, так и американского происхождения в Канаде вымерзли, за исключением Плодородной Мичурина из Козлова. Груша Бере зимняя Мичурина получена Иваном Владимировичем от скрещивания французского сорта Бере рояль, сочного, сладкого, с уссурийской грушей, способной вынести уссурийские морозы. И таких примеров можно было бы привести десятки.

Академик Н. И. Вавилов писал, что Мичурин первым понял огромное значение использования в селекции плодовых растений мирового исходного материала (коллекция, собранная Мичуриным, насчитывала около 800 растений — с Кавказа и Северной Америки, из Индии и Западной Европы) и особое значение придавал отдаленной гибридизации; что Иван Владимирович является «подлинным героем труда, своим примером показавшим, как надо жить и работать». Американский профессор Н. Ганзен говорил, что «ни один селекционер в мире во все времена не может похвастаться столькими сортами, сколько может предъявить Иван Владимирович».

Мичурин верил в то, что можно «достичь почти безграничных улучшений», в то, что «достижимы почти всякие изменения, кроме повторения одной и той же формы в точности, потому что всякая форма появляется лишь один раз и исчезает, как параболическая комета навсегда...»



Иван Владимирович Мичурин.

...За окном по-осеннему пасмурно, сыро. А в кабинете тихо и уютно. Геннадий Александрович Курсеков, директор основанной еще его прадедом, Мичуриным, Центральной генетической лаборатории, рассказывает об ее истории, о работе научных сотрудников... Сейчас конечно, это уже не лаборатория в обычном смысле, а крупный научно-исследовательский институт со многими лабораториями и отделениями, занимающимися проблемами генетики и селекции новых сортов плодовых и ягодных растений. Существует этот центр уже почти шестьдесят лет. За заслуги в развитии биологической науки, выведении новых сортов, подготовку научных кадров он награжден орденом Трудового Красного Знамени...

— Геннадий Александрович, а прадеда своего вы хорошо помните?

— ...Мальчишкой приезжал сюда к нему на лето. Как бы рано ни проснулся я, Иван Владимирович уже давным-давно в саду. Вовсе не помню его ничего не делающим. Подрезает, выпиливает, мастерит что-нибудь... Все, говорил, могу сделать сам, даже валяный сапог. И рисовал, и фотографировал, и часы собирал, метеорологические и электрические приборы усовершенствовал, сконструировал машинку для резки табака (курил он только им самим выращенный и высушенный) и набивки папирос, карманный секатор, аппарат для выгонки розового масла... Мужики из соседних деревень приходили — травами их лечил. В общем, мастером был на все руки. Любил встречать за работой в саду первые солнечные лучи, любил доказывать что-нибудь, спорить...

— Незадолго до смерти Мичурин писал, что последователи должны опережать, противоречить, даже разрушать его труд, в то же время продолжая его. Расскажите, пожалуйста, о продолжении дела Мичурина.

— Не знаю, с чего начать, право,— говорит Геннадий Александрович.— Вопрос прямо-таки тотальный... И противоречить приходилось и разрушать... Без этого наука невозможна. Но вся наша работа — продолжение его дела... Главная идея Мичурина — отдаленная гибридизация. Она и сейчас и будет, видимо, еще долго оставаться одним из основных направлений нашей работы. Мичурин сделал много, много начал и не успел довести до конца. Ведь чтобы получить даже один новый сорт растения, требуется порой тридцать—сорок лет.

— Есть вопрос, по поводу которого спорят, может быть, уже много веков, и особенно в последнее время. Мы все чаще встречаемся не с улучшением природы, а скорее, наоборот...

— Я понимаю вас. Все течет, все изменяется — с этим приходится считаться. Сама цивилизация — огромные города, заводы, машины, освоение космоса — влияет на природу, на ее равновесие и, если хотите, диктует свои законы. Человек может и должен создавать новые формы растений лучше природы, говорил Мичурин. Создавать лучше, как бы соревнуясь и опережая ее, но не уничтожать, не стирать с лица земли то, что создано за миллионы лет. Естественно, природа поставила четкие и прочные границы между видами и особенно родами растений...

Мичурин уделял большое внимание содержанию витаминов в плодах. Он мечтал способом гибридизации получить яблоко, настолько насыщенное витаминами, чтобы оно было уже не просто вкусным и полезным плодом, а исцеляющим материалом, который дает человеку силу жизни. Антоновка считается довольно витаминным яблоком. На сто граммов мякоти в ней содержится восемнадцать—двадцать миллиграммов витамина С, стимулирующего, как известно, жизненные процессы. А в нашем новом Ренете Кичунова — тридцать миллиграммов витамина на сто граммов мякоти! Если Иван Владимирович в свое время просто определял химический состав плодов и ягод, то мы химией помогаем генетикам и селекционерам, в чем-то облегчаем и сокращаем их работу, предсказывая химический состав будущего гибрида. Изучаем и рекомендуем, когда лучше,— чтобы [redacted] меньше витаминов было потеряно при хранении,— снимать урожай, советуем промышленности, что лучше делать с тем или иным сортом,— продавать ли в чистом виде, варить ли варенье, соки, компоты, вино... Для пробы и для доказательности и сами делаем немного. Соседние совхозы удалось недавно уговорить производить вино не только из яблок. Из смородины, крыжовника, сливы — намного вкуснее, витаминнее...

В статье «Мечта моей жизни», опубликованной газетой «Правда» в 1934 году, Мичурин писал: «...работаю сейчас над проблемами выведения морозоустойчивого персика, над возможностью выведения новых видов растений при помощи лучистой энергии, вроде космических, рентгеновских ультрафиолетовых лучей и ионизации, над проблемой выведения скороспелых, рано вступающих в пору плодоношения сортов, над возможностью получения бессемянного винограда».

И современники Мичурина, и некоторые из его последователей не верили в то, что эти физические факторы — магнитные поля, рентгеновские лучи — могут каким-то образом влиять на растительный организм. Мичурин сам начал проводить опыты, но не успел получить практических результатов. Сейчас его идеи в этой области продолжаются и развиваются. Уже давно и точно установлено, что электрический ток может помогать растениям при отдаленной гибридизации. Не только помогать — даже менять многие биохимические

процессы. Иван Владимирович применял ультрафиолетовые лучи. Сейчас используются мощные лазеры, генератор магнитных полей: получен прекрасный гибрид между вишней и черемухой, который зимостоек, устойчив к болезням, вкусный и довольно крупного размера...

— Для человека облученные фрукты и ягоды не опасны?

— Нет, совсем не опасны. В результате рентгеновского и гамма-облучения черенков, пыльцы и семян растения получены также новые сорта вишен, слив, вишни-черешни, созревающей на четыре-пять дней раньше срока. Вывели мы и карликовые формы деревьев...

— Карликовые? В средней полосе? И какие же будут плоды у таких деревьев?

— Точно такие же, как у нормальных груш или яблонь. Только созревают быстрее. А убирать их с полутора-, двухметровых деревьев гораздо удобнее и дешевле. Если фруктовых деревьев обычного размера на одном гектаре сажается триста — четыреста, то карликовых, спуров,— больше тысячи. Представляете, на сколько можно было бы увеличить урожай? Но пока мы знаем только теплолюбивые сорта малорослых фруктовых деревьев. Задача — найти, создать зимостойкие спуры.

Следующая проблема — вредители и болезни, поражающие плодово-ягодные растения. Во всем мире сейчас резко сокращается применение химического опрыскивания. В лаборатории генетики и иммунитета занимаются выведением сортов, устойчивых к болезням. Есть уже интересные результаты со смородиной и крыжовником.

— А теперь давайте продолжим наш разговор в опытном саду,— предлагает Геннадий Александрович.— Мы ведь не только теоретики, но и практики. Каждый год семьдесят тысяч черенков плодово-ягодных растений выращиваем и передаем питомникам страны. И за границу отсылаем, во все социалистические страны, во Францию, в США, ФРГ, Японию...

На улице — пронизывающий ветер, стягивается дождь.

Идем по саду. Некоторые ветки уже обнаженно чернеют. Под темно-синицовым небом деревья кажутся почти неживыми. Только вид кое-где краснеющих яблок согревает немного...

— Хочу, чтобы вы попробовали последние сорта, в этом году принятые на государственные испытания,— говорит Курсаков.— И лучше не яблоки — не все ведь только о яблоках говорить. Вот там, слева, груша Памяти Яковлева. Мы ее много лет проверяем. Все выдержала. Плоды ее сочные, крупные, храниться могут долго, а дерево само небольшого роста. Да что я рассказываю, вот она, попробуйте...

— Скажите, а всем памятные морозы позапрошлой зимы очень вам повредили?

— Наоборот, они помогли. Провели, так сказать, естественный отбор, много подсказали и в вопросе выбора места для посадки деревьев. Наши деды никогда не забывали об этом. Яблони и груши сажали только на склонах. Теперь же, особенно в крупных хозяйствах, забывают порой о том, что от деревьев, посаженных в низинах, куда стягивается основная, самая опасная для них стынь, осенью немногого дождешься.

— А этой весной ведь сады цвели буйно, правда?

— Да. Все надеялись, что ветки будут трещать и ломаться от плодов. Не тут-то было. Холода, дожди...

— И что же, никакого выхода? Мало ли что может случиться, нельзя же уповать на пчел, хоть они и великие труженики...

— Выход есть. Опылением наши ученые тоже занимаются. Вернее, тем, как можно обойтись без него. Сейчас, например, заканчиваются государственные испытания уже знакомого вам Ренета Кичунова. Этот сорт на восемьдесят процентов самоплоден, другими словами, почти не зависит от опыления.— Забыл назвать вам несколько важных цифр. После Мичурина в 60 областях и краях СССР районировано 23 сорта плодовых и ягодных. По качеству и продуктивности они превосходят стандартные на 25 процентов. На международной выставке в Эрфурте наши яблоки и груши завоевали пять золотых и серебряных медалей. Дело Мичурина продолжается.

Сколько бы лет ни прошло, будет жить подвиг советского солдата, принесшего народам Европы свободу от фашистской чумы. В год 35-летия Победы мы публикуем рассказ словацкого писателя Павола Угрина. Основываясь на реальных событиях, он повествует о том, как встречали его земляки советских воинов, освобождавших Чехословакию.

Павол УГРИН

ВАНЕЧКА

Это событие произошло в моей родной деревне Лишов в Словакии, недалеко от Зволена, в годы войны.

Они появились зимним вечером, сначала всадники на усталых конях, за ними потянулись деревенской улицей пешие колонны.

С какой радостью встречали сельчане своих освободителей! Наконец-то позади была оккупация, фашистское мародерство, страх перед смертью от гитлеровской пули. И двери каждого дома были распахнуты красноармейцам, для них накрывали праздничные столы — из запасов, что удалось приберечь для этого долгожданного дня.

Семидесятилетний Михал Климент сидел у окна своей бедной халупы, когда на пороге появился парень лет двадцати с красной звездочкой на ушанке.

— Здравствуйте, дедушка! Нельзя ли у вас остановиться?

— Что ж, если по душе мое скромное жилье — прошу! — ответил дед Климент и провел красноармейца в горницу.

— Бабушка умерла, да? — вдруг осекшимся голосом спросил боец, быстро сдернув с головы шапку. Возле кровати на деревянных подлагах стоял гроб.

— Нет, она уж десять лет как умерла.

— Сын?

— Тоже нет. Не было у меня ни сынка, ни дочки,— вздохнул старик.

— Так кто же?

— Погоди. Помоги-ка мне снять крышку.

— Нет-нет, не надо! — Боец направился к двери.

— Что ж ты, солдат, а боишься?— усмехнулся старик.

Красноармеец помог ему снять крышку... и от неожиданности чуть не выронил шапку: гроб был полон спелых лесных орехов. Солдат перевел взгляд на старика, потом снова на гроб и покачал головой:

— Чудной ты, дед!

— Не спеши людей судить. Видишь, старый я, один живу, родных никого нет. Вот и заказал себе — чтобы после смерти никому не быть в тягость. Да это еще не все.— Старик повел гостя в чулан и показал ему мраморный надгробный памятник и кованую ограду.— Тоже загодя купил. С мастером договорился, чтобы вытесал на памятнике, когда умру, имя мое и день смерти. Но и это не все.— Дед Климент вернулся в горницу, порылся под соломенным тюфяком на кровати и вытащил оттуда завернутую в полотенце литровую бутыль.

— Сливовица. По-вашему, водка, только наша из слив. Это на случай, если, не дай бог, совсем слягу и некому будет за мной ходить. Выпью тогда сливовицу, засну и уж больше не проснусь.

— Что ж ты, дед, пьяным хочешь на тот свет отправиться? — засмеялся солдат.

— Да пока я, старый, доберусь до святого Петра, десять раз протрезвею! Вот теперь ты все знаешь. А то люди подумают, будто я специально хотел напугать русских бойцов, чтобы они у меня не останавливались. Ну что, останешься?

— Останусь, дедушка! — ответил солдат.

Сели за стол.

— Плохую ты выбрал квартиру,— не унимался старик.— В других домах угостили бы тебя добрыми пирогами, их сегодня каждая хозяйка печет. Ну ничего, у меня тоже кой-что найдется.

Старик принес из чулана колбасу, солонину, хлеб. Поднял рюмку со сливовицей:

— Будь здоров и чувствуй себя здесь так же хорошо, как мне было у вас в России!

— Ты был в России? — удивился боец.

— Три года. В плену, в первую мировую. Послали нас воевать, а что мы, как мы — никому дела не было. И замерзали и голодовали в окопах. Я через неделю и сдался в плен. Да ты, я вижу, совсем заморился,— сказал дед Климент, заметив, что у бойца слипаются глаза.— Нечего тебе слушать глупого старика, ложись-ка спать.— Старик провел гостя в горницу, приготовил постель, дал чистое полотенце и мыло.

— Ну, что во сне видел? — спрашивал дед на другое утро.— У нас говорят: что снилось в первую ночь на новом месте, то и исполнится.

— Снилось мне на вашей перине, будто дома я, у мамы! — весело ответил боец.

— Ну, дай бог, чтобы сон поскорее исполнился! — сказал ста-

рик и словно в подтверждение, что слова эти от самого сердца, крепко пожал ему руку.

С каждым днем они все больше привязывались друг к другу. Как-то за ужином дед нерешительно спросил:

— Скажи, а дома-то тебя как звали?

— Да я же говорил — Иваном!

— Нет, дома, родные?

— Ну... Ванечкой. Мама так звала, когда я ее слушался,— улыбнулся боец.

— А не рассердишься, если и я буду тебя так называть?

— Хорошо. А я буду звать тебя отцом.

Слезы выступили на глазах у старика. Еще никто в жизни так его не называл! Только сейчас дед внимательно вгляделся в лицо Ивана. Крупные, правильные черты. Буйная прядь каштановых волос над высоким чистым лбом. «И почему нет у меня такого сына?» — вздохнул про себя старик...

День шел за днем. Дед Климент старался, как мог, чтобы порадовать гостя: то отнесет соседке миску орехов и закажет пироги, то за те же орехи выменяет свежего молочка. А однажды принес в дом гармошку.

— Я знаю, вы, русские, любите гармошку. И песни у вас — прямо за душу берут! Сыграй-ка что-нибудь.

Иван растянул мехи, и запела гармошка. Дед сидел напротив и радовался, как ребенок. Потом вдруг спросил:

— Наверно, твоему отцу не понравилось бы, что ты меня отцом называешь?

— Погиб он под Сталинградом,— вздохнул, оборвав песню, Иван.— Осталась только мама.

— Пишешь ей?

— А как же!

— Будешь в следующий раз писать, передай, что дед Климент шлет ей привет и желает доброго здоровья... А скажи мне, Ванечка,— спросил дед,— ты коммунист?

— Коммунист, отец. А почему ты спрашиваешь?

— Ты такой добрый, отзывчивый...

— У нас в партии все такие. А вам тут, наверно, про коммунистов чего только не наговорили?

— Болтали много, да я не верил. Я ведь был в России... Русских знаю...

Однажды вечером, когда дед уже укладывался спать, Иван надел шинель, поверх нее белый маскхалат.

— Куда это ты на ночь глядя?— удивился старик.

— С фрицем немножко побаловаться,— подмигнул ему Иван.

Старик забеспокоился, встал.

— Война есть война. Только ты себя-то береги, Ванечка. Молодой еще, считай, ничего в жизни не повидал!

Когда солдат ушел, старик принес из чулана большую бутыль, налил в нее горячей воды и, завернув полную бутыль в полотенце, сунул ее под перину, где спал Иван. «Ночью продрогнет, пусть отогреется в теплой постели»,— подумал старик. Лампу гасить не стал — чтобы Иван, когда вернется, не шарил в потемках.

— Я солдат, отец,— выговаривал ему наутро Иван,— а ты нянькаешься со мной, как с дитем.

— Так потому, что ты солдат, я и забочусь о тебе, Ваня,— оправдывался старик.— Не бойся, передо мной в долгу не останешься. Вот, случись, захвораю я, слягу — и ты позаботишься о старике.

В другой раз, когда боец вернулся с задания, его ждал празднично накрытый стол.

— Садись, Ванечка,— приветствовал его дед.— Сегодня большой день!

— Именины у тебя, дедушка?

— Нет. Забыл? Уж месяц, как ты ко мне пришел. Вот давай и отметим эту дату! Знаешь,— посерьезнел старик,— оставался бы ты у меня до конца войны, уж так бы мы с тобой отпраздновали победу!

— Нет, отец,— ответил Иван,— надо добить фашистов. А после войны приеду, обязательно приеду с мамой. Она должна тебя увидеть.

Теперь все чаще Иван надевал по вечерам белый маскхалат, а возвращался уже под утро. Всю ночь светилось окошко в избе старика,— лампу гасил Иван, когда возвращался. И только однажды лампа осталась непогашенной. Не пришел Иван и к обеду. Старик выходил на улицу, долго вглядывался в дорогу. Лишь под вечер заметил за околицей сани, приближающиеся к деревне. Когда сани поравнялись с ним, старик узнал в вознице солдата, квартировавшего в соседнем доме.

— Что везешь?

— Убитых.

Страшное предчувствие камнем сжало сердце старика.

— Сколько их?

— Трое.

Он снял шапку и так, с непокрытой головой, шел до амбара на другом краю деревни, где остановился воз. Подошли другие солдаты, стали снимать тела своих мертвых товарищей. Весь напрягшись, старик пристально вглядывался в молодые безжизненные лица. Третьим был он. Иван.

— Его ко мне!—не помня себя, закричал дед Климент, увидев, что солдаты кладут Ивана на пол амбара.

— Куда? — не поняли бойцы.

— Ко мне в избу. Он жил у меня!

— Но ведь он мертвый, дедушка,— ответили солдаты, накрывая всех троих плащ-палаткой.

Старик не видел ничего, только серый кусок брезента, под которым лежал его Ванечка.

— Идемте!—сказал старик бойцам, и в голосе его было такое отчаяние и решимость, что те молча последовали за ним. Он привел их в дом и показал гроб, памятник, ограду:

— Возьмите это для Ивана.

В ту ночь старик не спал. Собрался было зажечь лампу, да так и просидел до утра в темноте. Почему судьба подарила ему на старости так мало солнечных дней? Правда, он где-то читал, что старость — это осень жизни, а в осени всегда мало солнечных дней. Русский парень Иван был последней, нечаянной радостью в его жизни.

Утром дед заметил на окне сложенный вчетверо лист бумаги. Развернул, но прочитать не смог. Писал, конечно, Иван. Тут раздался стук в дверь, и на пороге появился красноармеец.

— Вы Михал Климент? Наш командир просит вас к себе.

— Меня? Зачем? — встревожился дед.

— Мне приказано только доставить вас к командиру.

— Доставить? — обиженно произнес старик.— Я сам знаю, где живет ваш командир. Что подумают земляки, когда увидят, как деда Климента под конвоем ведут к советскому командиру? Приду один.

— Хорошо, как знаете.—И солдат направился к двери.

— Погоди! — окликнул его дед.— Читать умеешь?

— По-словацки — нет.

— Не надо по-словацки, ты по-русски! Читай.

Солдат пробежал листок глазами и посмотрел на деда:

— Это писал наш солдат.

— Я сам знаю, кто писал. Читай!

— «Милая мамочка! — начал солдат.— Шлю тебе свой сердечный привет и сообщаю, что я жив-здоров, чувствую себя хорошо. Даже очень хорошо. Живу у одного старика. Он одинокий. Жена умерла, а детей не было. Заботится обо мне, как о родном сыне. Называет Ванечкой, а я его зову отцом. Ночью накрывает меня периной, чтобы не замерз. Даже гармошку мне раздобыл, так что я иногда играю. Старик передает тебе самый сердечный привет. Вот кончится война, приедем с тобой к нему в гости и возьмем его к себе, пусть поживет у нас. Золотой старик!

Вот и все, ничего нового больше не могу тебе сообщить, только то, что все время вспоминаю тебя и думаю о том, что война скоро кончится и мы увидимся. Твой Ванечка».

Старик слушал, уткнув лицо в ладони, и когда солдат закончил, попросил:

— Прочитай еще раз!

— Вы не понимаете по-русски? — решил солдат.

— Понимаю, очень хорошо понимаю, но все-таки прочитай.

Боец, увидев искаженное плачем лицо старика и слезы, катившиеся по морщинистым щекам, понял все и медленно, с расстановкой прочитал еще раз.

Когда он ушел, дед Климент стал собираться. Умылся, надел чистую рубашку, недавно купленную баранью шапку, расшитый тулуп. Перед домом, где жил командир, его остановила охрана. Когда его привели к командиру и дед назвал свое имя, тот встал, приветливо взглянул на старика, поздоровался с ним за руку и усадил на стул.

— Так вы и есть Михал Климент,— начал командир.— Я слышал, вы отдали для нашего погибшего товарища гроб, памятник и могильную ограду.

Старик молча кивнул.

— Что вы за это просите?

— Как что? Ничего! — Старик сверкнул глазами.— Это для него, для Ивана. Я приготовил себе, но ведь живым такие вещи не нужны...

Командир спросил еще, что высечь на памятнике — имя только Ивана или имена всех троих погибших солдат.

— Всех троих,—не раздумывая, ответил старик.— Но первым, пожалуйста, пусть будет Иван.

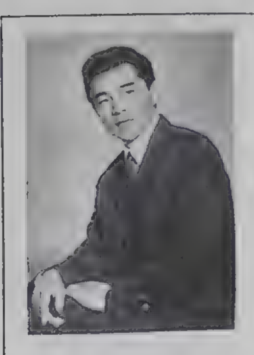
Вспомнив про письмо, дед Климент протянул его командиру:

— Отошлите матери. Он писал накануне...

Попрощаться со своим Ванечкой старик пришел 25 февраля 1945 года, когда в присутствии всех жителей деревни хоронили советских солдат. Они и сейчас здесь лежат. Если будете в Словакии, загляните в маленькую, укрытую лесистыми горами деревеньку Лишов. В центре ее вы увидите скромный памятник с тремя высеченными на нем именами — памятник советским героям, павшим за свободу нашей страны. Он подтвердит вам, что все рассказанное здесь — правда.

Вратислава

Перевел со словацкого Б. ЛАБУТИН.



Дожоогийн ЦЭДЭВ

ДЫХАНИЕ ГОБИ

Ты как-то спросила, вздохнув безнадежно:
«Ужели у Гоби, пустыни бескрайней,
Где только буруны, пески, бездорожье,
Возможно какое-то жизни дыханье?»

Там, в Гоби, прошли мои детские годы,
Прошли и растаяли в мареве желтом...
Оттуда я, милая девушка, родом.
Так, значит, и в Гоби рождается что-то!

Дыханье Гоби — в ключах под землею,
В подветренном свисте седых саксаулов,
В куланах, несущихся бреющим строем,
В верблюдах, бредущих песками сутуло.

Дыханье Гоби — в багровом хармаге [1],
Кусты облепившем росою багряной,
И в клубнях гоё [2], что прекраснее браги,
И в ламповом свете сквозь дебри туманов...

Ни летом горячим, ни осенью блеклой,
Ни в снегом метущие зимние вихри —
Ни дня не бывает, чтоб Гоби замолкла,
Чтоб шорохи жизни великой затихли!

ТИШИНА

Не слышно улиц и шагов людских,
Колес, утюжащих асфальт, не слышно!

[1] Хармаг — ягоды багрово-красного цвета.
[2] Гоё — растение, встречающееся только в Гоби.

Поезд жизни

Пьянею я от запахов лесных
Под звездами увешанною крышей.

Такая тишина, что слышу сердце я,
Оно стучит в мирском круговороте...
Мчит белый ветер в дальние края,
Звенят снежинки нежные в полете...

Земля! Ты издавна меня звала,
Чтобы явить извечные красоты!
Ты в суете и в тишине мила,
Всегда мне по сердцу твои заботы...

ЗВУЧАТ СТИХИ...

В Луанде митинг лирики идет.
Приникла к репродукторам Ангола!
Здесь разноцветный собрался народ,
И я средь прочих — скромный сын монголов.
Как шум дубравы, я услышал здесь
Мелодию российской мудрой музы,
Тут декламировать имеют честь
Арабы, англичане и французы...

И вдруг из рупора, как вешний гром,
Слова несутся, милые до дрожи:
Без промедленья входит в каждый дом
Монгольский Пушкин — Нацагдоржа!

Вращается, внимая, шар земной.
Гремят рукоплескания в Анголе.
Цветет поэзии букет степной,
Планету призывая к лучшей доле!..

МОЛИТВА

Спина сутулая, седая голова,—
В отрепье жалком у дверей отеля
Сидит старик и богу шлет слова
Молитвы, что знакомы с колыбели...

И наг и бос, простерся он в пыли,
Творца моля так тяжко, отрешенно,
Чтоб от щедрот тот ниспослал земли
И сделал человечнее законы!

С глазами черными, как сливы, мальчуган
На деда старого глядит в недоуменье,
Как будто перед ним свершается обман,
Уже запутавший десятки поколений...

Взгляд отведи, старик, от пустоты,
Впустую не валяй в пыли одежду!
Кто знает: может быть, увидишь ты
В глазах мальчишки веру и надежду?!

Кто знает, может, грозный мститель в нем
Сейчас рождается за все твои лишенья,—
Недаром юный взгляд горит огнем,
И враг твой станет для него мишенью!

ТВОИ СЛОВА

Когда твоим я словом окрылен,
От радости на сердце станет тесно,
Пустыня наша трудная, как стон,
Покажется нарядною невестой!

Когда от горьких слов невыносимо мне:
Ведь их уста любимые сказали! —
И ручеек, бегущий средь камней,
Покажется большой рекой печали...

БАБУШКА, ПРОДОЛЖИ СКАЗКУ, А?

Коров подоила. А я уже тут:
— Скажи мне, бабуленька, сказку!
...В тоон[1] притворенный звезды текут,
А голос приветлив и ласков...

Сжимается сердце: зайчонка мне жаль,
Смеюсь перепелкиным козням...
Вливаются в детскую душу печаль
И радость под пологом звездным.
Учусь различать доброту и обман,
Порядочность в нищенском платье.
...А сказок у бабушки был океан,
Прослушать — и жизни не хватит!

— Но кто тебе, бабушка, их рассказал?
Их мама твоя рассказала?
Иль сами твои увидали глаза
Их в жизни? Сонливо, устало
Мне бабушка новую сказку сучит:
— Ну ладно уж, слушай, негодник!
...Все то, что услышал в далекой ночи,
Поведаю детям сегодня...

[1] Тоон — створки свода юрты.

ГОРЕЧЬ И СЛАДОСТЬ

В жизни и горечь нужна!
Кто не знавал ее сроду,
Тот не оценит сполна
Сладость душистую меда!

Солнечный, благостный мед!
Ты его тоже испробуй,
Чтоб не смешать наперед
Искренность с хищною злобой.

СМЕХ

На сцене клоун. Море взглядов детворы,
Веселье сотрясает своды цирка!
Смех — светлый всплеск страданий до поры,
Смех — из цветов нежданная посылка...

Смех дарит клоун — мне, тебе и — всем!
Смех — солнышко, взглянувшее из тучи.
Смех — красный бант на девичьей косе,
Смех разметает зло рукой могучей!
Веселый клоун дарит, дарит смех.
А кто из зрителей сказал «Спасибо!»?
За свежий воздух, радующий всех,
Природу-мать благодарил кто-либо?!

Смех сеет, сеет арлекин вокруг,
Но самому, коль приглядишься, грустно,
Шепчу чуть слышно: «Улыбнись-ка, друг!» —
Но улыбаться не его искусство!

Его искусство — веселить других!
...Иду из цирка. Мир осыпан снегом.
Несу я для приятелей своих
Охапку согревающего смеха...

В ПОЕЗДЕ ДАЛЬНЕГО СЛЕДОВАНИЯ

Взбираясь на вершину лет своих,
Не выделил тебя я из подружек.
На перевале, среди скал крутых
Я оглянулся. В сердце трепет стужи...

Так, значит, разминулся я с тобой!
...Но вот вошел я в дальний поезд скорый,
Сидишь в накидке светло-голубой,
Приветливым меня встречаешь взором.

Откуда это тайное родство?
Как будто были мы всегда знакомы...
Сердца слились со взгляда одного,
Стелить не нужно слов пустых солому!

Улыбкой был украшен разговор,
Как мимолетная весна цветами.
На ярком платье вышитый узор —
Твою улыбку — не изгладит память!

...Скорый поезд дальнего пути
Набирает бешеную скорость!
Надо горы и леса пройти!
Перерезать надвое просторы.

Люди входят и выходят вновь,
Освещая доброю усмешкой
Нашу боязливую любовь.
Поезд мчится, режет мрак кромешный.

Осмелеть бы! Но сковала робость,
А ведь мог на шею скакуну,
Изловчась, умело изготовясь,
Вспрыгнуть... И — скакун уже в плену!

Я умел взъяренного коня
Закрутить безжалостным арканом...
А теперь терзает страх меня,
Я застыл пугливым истуканом...

Имя медоносное твое
Только про себя шепчу несмело.
Как прилив морской, душа поет...
А вчера еще лишь леденела...

...Скорый поезд дальнего пути
Набирает бешеную скорость:
Надо горы и леса пройти,
Перерезать надвое просторы...

Люди входят и выходят. Кто
Оставляет след своей улыбки,
Ну, а кто ворсинки от пальто
Иль одеколона запах липкий...

Поезд жизни — все вперед, вперед!
Твое имя колесо и спицы
Шепчут, словно льют на сердце мед.
...Поезд просит сумрак расступиться...

Перевел с монгольского Алексей МАРКОВ

УРОКИ

Нина ХРАБРОВА,
специальный корреспондент «Огонька»

Хороша земля псковская. Хороша вековыми соснами и синью бесчисленных озер. Хороша архитектурными памятниками и комфортабельными современными домами. Хороша современными фабриками, заводами и нежными цветками льна летом. А всего краше эта земля своими людьми — рабочими, пахарями, строителями. Сегодня «Огонек» рассказывает о славной псковитянке — народной учительнице Полине Георгиевне Лозиной.

Стоит у чисто промытого окна женщина с тетрадью в руках. За окном — Русь. Белый ствол березы занавешен тонкими зелеными ветвями. У мокрой дороги черемуха разомлела. Сквозь путаницу кустов поблескивает река Псковa, а за Псковою-рекой трактор ходит по пашне. Глаза у женщины весенне зеленые, темные волосы с нитями седины причесаны гладко и затянуты в тугой узел.

...Мы познакомились год назад да и виделись за этот год всего два раза, а кажется, будто знаю ее всю жизнь.

Думаю, что из двух ее орденов и двенадцати медалей самой ей дороже всего партизанская. Трудная война у нее была. Выглядело это так: худющая девочка ходит по псковским деревням и дорогам, то старую кофточку меняет на кусочек хлеба, то связку дров несет из лесу. Как тысячи других подростков в те годы. А ведь она в разведку ходила. Была партизанской связной. Всю войну—угроза провала, виселицы, смерти с дощечкой «партизан» на груди. Страшнее, чем на фронте, чем в партизанском лесу,— там рядом всегда свои...

Знаю, что после войны, став секретарем райкома комсомола, долго не получала зарплату, пока бухгалтер не напомнила. Самой и в голову не приходило: за освобожденную комсомольскую работу деньги получать? И училась всегда заочно. Сначала в педучилище, потом в институте имени Герцена, шла к своей профессии прицельно прямо. Вообще у нее много было счастливых дней. Но каждый раз, когда ее труд прилюдно отмечали, она испытывала тревогу: по заслугам ли? Отметала сомнения спасительной мыслью: еще есть время отработать высокий аванс.

Приезжала я к ней в конце прошлой весны по исключительному поводу: Указом Президиума Верховного Совета СССР ей, Полине Георгиевне Лозиной, было присвоено звание «Народный учитель». Уже начались каникулы, классы опустели, и я застала ее у старого деревянного здания школы, придирчиво осматривающей груду белого кирпича.

— Школу облицовывать будем.

И вот нынче школу едва отыскала: вместо старой «деревяшки» под березой стоит гордое белое зданьице. И такая в нем тишина, что я даже испугалась — думала, опять опоздала. Но нет, шли уроки. Когда ребятишки убежали, мы остались вдвоем. Я собираюсь завтра с утра опять сюда, а Полина Георгиевна стоит у окна, рассматривает учебный план конца года и вдруг спрашивает:

— Будем жить по расписанию или?..

— Будем жить по расписанию.

УРОК ХЛЕБА

— Ребятки, какой у нас сейчас месяц?

— Ма-ай!

— Какие праздники в этом месяце?

— Первое мая! День Победы!

— А еще?.. Праздник Хлеба, дни весеннего сева. Никто в эти дни не отдыхает, все в поле. И работа там трудная, земля сырая, дожди да ветры, а все-таки праздник. Почему? Вот мы прочтем в букваре поговорку: «Весенний день год кормит». Раскройте эту страничку, я почитаю, а вы последите.



Полина Георгиевна Лозина.

Фото В. Сальмре

Это — к первоклашкам.

Третий класс не отвлекается, решает свои примеры, но ушки на макушке, тоже слушает о празднике Хлеба.

Голос у Полины Георгиевны низкий, теплый: я слушаю старую, как мир, простую и удивительную историю о том, как сухое зерно упадет в весеннюю землю и осенью обернется золотым колосом с десятью, а то и двадцатью зернами. А где-то даже и с шестьюдесятью!

— Какого цвета наша земля? Кто хочет сказать, поднимите руку. Скажи, Валюша.

— Желтая.

— Теперь ты, Владенька.

— Серая.

— Жанночка!

— Оранжевая.

— Верно, верно, ребятки. Только главного цвета земли вы не назвали — черного. Не назвали, потому что такого не видели. Оттого наша псковская земля и называется нечерноземной. Чтобы черной стала, много труда ей надо отдать — запахать в землю навоз с животноводческих ферм, минеральные удобрения внести. Пахать хорошо надо, а еще что, Валенька? Правильно — боронить. Когда вырастете вы и станете, может быть, механизаторами или агрономами, тогда земля будет сначала коричневой, потом черной, станет плодородной. Для этого надо быть и здоровыми и прилежными, много учиться, много знать.

Так она объясняет первоклассникам окружающую их жизнь. И приходит к детям любовь к родной земле вместе с запахом сырого весеннего ветра...

— Теперь посмотрите, что я вам покажу.

Я тоже смотрю и вижу четырехугольник белого плотного картона, на нем четыре пробирки и еще что-то.

— В первой пробирке стебель — так хлеб растет. Во второй — спелый колос с зернами. В третьей — зерна, они уже очищены, скоро лучшие из них отберут, сохранят до будущей весны, для будущего сева. А в четвертой пробирке — мука: зерна смололи на мельнице, из муки выпекут мягкий и пышный хлеб. И вот, пожалуйста, на нашей таблице: баранка, черного хлебца кусок, белый пшеничный сухарик. Третьеклассники! Ну, что же вы? Не отвлекайтесь, решайте свои примеры. Владик, ты запомнил поговорку, которую я прочла после рассказа о хлебе?

— Посеешь в пору, соберешь зерна гору.

— Молодец. А другую поговорку кто-нибудь запомнил?

— Весенний день год кормит.

— Ну-ка посмотрим, как третьеклассники потрудились!

...Это, конечно, многолетней практикой дается — работать с двумя классами в одной комнате, привычно переключаться с одного возраста на другой, с русского языка на арифметику и всегда помнить, на чем в каждом классе остановилась. Но какими усилиями добиться, чтобы все ребята сосредоточенно работали?

— Третьеклассники — их я понимаю, они привыкли. А первоклассники?—шепотом спрашиваю подсевшую ко мне Полину Георгиевну.

— Ну, как же, они уже год как работают и тоже привыкли,— шепчет она в ответ.

Встала, отошла к первоклассникам, спросила:

— Все ли прочли, всё ли поняли? Хорошо. Тогда почему же во время завтрака у нас кусочки хлеба на пол падают? А то еще — стыд-

НА ПСКОВСКОЙ ЗЕМЛЕ

Изборская крепость. * Произведения древнерусской живописи из собрания Псковского историко-художественного архитектурного музея-заповедника.

На развороте вкладки:

Главы церквей Печорского монастыря * Трудная жатва * От щедрот Чудского озера — нежнейшая ряпушка * Псковский кремль * Один из лучших водителей совхоза «Глубоковский», бывший фронтовой шофер И. С. Иванов * Могила А. С. Пушкина * Псков летом * Сменный инженер тонального цеха псковской телеграфно - телефонной станции Е. К. Варле * Разлив в Михайловском * Проводы русской зимы.









то какой! — и на улице валяются. Никто не должен себе такого позволять.

Что-то произошло неуловимое. Голос ли стал строже, ласковая ли улыбка погасла, но оба класса насторожились, смотрят на учительницу во все глаза. Сразу угадываю, кто хлеб ронял или выбрасывал: тот покраснел, тот омрачился. Дыхание все затаили. Думают.

— Третий класс, посмотрите сюда. Перед вами тетрадь Инны Лешковой. Должна признаться, мне нравятся тетради Инны: нет ошибок, чисто, красиво и снаружи и внутри. И остальные молодцы, ответы правильные, помарок нет, несмотря на то, что вы отвлекались и тоже про хлеб слушали. Но это не упрек вам, это я в похвалу...

Очень облегчают работу и ученикам и Полине Георгиевне заранее приготовленные карточки с заданиями. Ребята накануне знают, какие карточки будут лежать в специальных подставках: дежурные раскладывают. Подставки для карточек еще покойный муж Полины Георгиевны сделал, а ему сыновья помогали. Идти на риск и отвлечь один класс делами другого — это Полина Георгиевна позволяет себе в исключительных случаях. Вот как теперь, когда речь зашла о хлебе.

УРОК КРАСОТЫ

«Расти, расти, яблонька, подрастай,
Цвети, цвети, яблонька, расцветай», —

читает Полина Георгиевна первому классу. Так читает, что и я ощущаю тонкий, с кислинкой запах яблоневого цвета, чувствую в ладонях нежность лепестков, а ничего этого у нынешней весны и на подступах нет. Валя Иванова, быстроглазая цыганочка (цыган много живет в Лисьих Горках, когда-то приезжали на здешний базар, понравилось, и вот осели) поднимает руку:

— Можно, Полина Георгиевна?

Валя выходит к доске и быстро повторяет стихотворение.

— Уже выучила? Умница.

Позже Полина Георгиевна будет восторгаться девочкой: «Вежливая, доброжелательная, артистичная, исполнительная, море врожденной культуры!»

— Владик, а теперь ты. По букварю почитай... Хорошо прочел. Только вот в чем дело, ребятки, мы стихотворение читаем. Это как песня. Песню мы поем с чувством, красиво. А как стихотворение надо читать? Нет, трясти руками не нужно, я буду вызывать тех, кто руку держит спокойно.

— С чувством!

— Красиво!

— Выразительно!

— Вот-вот, хорошее слово — выразительно. Тебе, Владик, нравится, как яблонька цветет? И яблоки нравятся? Вот ты голосом и покажи, как тебе нравится...

Симпатичный человек Владик! Крупный для своих восьми лет, светловолосый добряк. Настроен на волну Полины Георгиевны: прочел второй раз благоговейно и, что надо, «голосом показал».

— Ребята, а кто из вас успел у дома яблоньку посадить? Никто еще? Ну, не беда. И сегодня и завтра не поздно посадить саженцы, — помните, на прошлом уроке говорили? Почитайте стихотворение еще раз да подумайте, как станете яблоньки сажать. А дежурные третьего класса раздадут бумагу и карандаши. Как вы думаете, ребята, почему я вам не полный лист бумаги отвела, а только треть?

— Наверное, закладку в подарок новым первоклассникам будем делать, — догадалась Инна.

— Не совсем так, Инночка. Верно, для будущих первоклассников. Только вы нарисуете для новых первоклассников предметы, которые помогут им научиться считать. Помните, как вам в первом классе картинки для счета дарили? Ваша алгебра начиналась тоже с рисунков, помните? Одна морковка да еще одна морковка, сколько будет?

— Две-е! — с чувством внутреннего превосходства кричит в голос третий класс.

— А хотите знать, почему я вам так мало бумаги дала? Нет, не для того, чтобы мелко рисовали. А вот почему. Окончите вы школу, захотите стать закройщиками на швейной или обувной фабрике, а выкройки из куска ткани или кожи так потребуется разместить, чтобы сантиметра в отход не пошло. Вот и посмотрю, какие из вас мастера получатся...

Оглянула углубленных в буквари первоклассников, прошлась между партами, увидела, как мой сосед, третьеклассник Сережа Никонов вместо морковки споро нарисовал зайца. Я ожидала упрека и заранее огорчилась: сосед все-таки. А Полина Георгиевна наклонилась к Сереже и сказала тихонько: «Молодец! Заяц что надо, он нам на следующем уроке пригодится». Просиял Сережа.

Когда-то мне в учительском институте прививали строгую догму: быть требовательной к выполнению ученических заданий. Чтобы «от и до». Безусловно, ученики должны привыкать к порядку. А если именно сегодня проснулось в человеке нечто творческое?

После урока Полины Георгиевны я всей душой за педагогику понимания и добра.

Когда-то еще вот что внушалось: никаких уменьшительных и ласкательных, они якобы ведут к панибратству. Надо: Иванов, Комаров... У Полины Георгиевны в двух классах несколько учеников с одинаковыми именами, и в этом случае она обращается: Инна Лешкова, Инна Субханкулова, Сережа Нечаев, Сережа Никонов. Но повторно к ним уже — Инночка, Сережа. Профессионализм сродни таланту. Ни догмы, ни их нарушение тут ни при чем. Даже постоянные уменьшительные, которые в другом случае показались бы слащавыми, у Полины Георгиевны органично выражают доброту и ласку.

— Молодцы, ребята, экономно разместили. Мастера! Почти у всех по три предмета получилось. Краски яркие, с тенями. Оцениваем все вместе. Рисунок Иры Шляковой. Сережа Никонов, что ты скажешь?

— Хороший рисунок. Мне больше всего нравится морковка.

— Согласна. Света... Ира... Инна... Алеша! Ребята, а что вы думаете о рисунке Алеши?

— Да у него только два предмета! Пусть дорисовывает!

— Постарайся, Алешенька! Точно очерти, раскрась поярче. Ты ведь не хотел бы себе мяч грязно-серого цвета? Красота должна быть яркой. И чистой. Без прилежания красоты не бывает.

Перед концом урока:

— Ребята, посмотрим еще раз Алешин рисунок.

— Да он же не сделал ничего!

— Алеша, ты у нас один не захотел сделать подарок первоклассникам...

Складывает рисунок пополам, сама относит в мусорный ящик. Явно огорчена, лицо пятнами пошло. Алеша тоже красный. Третий класс коллективно мрачнеет. Звонок. На переменке говорю Полине Георгиевне:

— Оказывается, вы умеете быть жесткой.

Вздыхает:

— Приходится. Алеша хороший мальчик, только несобранный. Так троечником и выпускаю его, школа-то у нас трехклассная.

— А бывает, что вы на ребят сердитесь?

— Конечно.

— Наказываете? В угол ставите?

— Что вы! Это унизительно. Даже за партой не ставлю. Только на переменке, когда все играют, минутку заставляю на месте посидеть. Не больше минутки — они же должны двигаться.

Двигаются они много: физкультурная пауза на уроках, игры на переменах. Играют тут же, в классе: в коридоре тесно, на улице холодно. Чего тут только не припасено для игр! Скакалки, гантели, мячи, кубики... Разрешаются хороводы и танцы. На большой перемене бывает «урок обеда»: учит есть аккуратно, красиво. Слышу, кто-то острит: «Самый лучший урок — обед». Никто не запрещает от души хохотать. Требуется одно — со звонком приниматься за работу. Так они и делают: садятся за парты, передники, курточки расправлены, банты сияют белыми розами. Хоть лоб разбей, не пойму, что за ребята — живые, веселые и в то же время на диво сосредоточенные. «Такими и должны быть», — минуя тысячу подробностей , говорит Полина Георгиевна. Одну все-таки подчеркивает:

— Надо все время работать с родителями. Не знаю, отчего так много разговоров вокруг семьи и школы. Надо взаимодействовать, а не спорить. Я иногда даже думаю: не слишком ли часто в семьи хожу? И родители бывают на собраниях и на праздниках, по поводу и просто так. Они сами-то молодые, многие у меня учениками были.

УРОК ЖИЗНИ

Живет Полина Георгиевна в бывшем селе, в Любятове, теперь окраина Пскова. В старом маленьком домике. У домика такая история: перевезен сюда из другого района четверть века назад, когда Ивана Степановича Лозкина, мужа Полины Георгиевны, перевели в Псков начальником передвижной механизированной колонны. А где было жить в том разрушенном Пскове? Купили у старушки хату (по тогдашним ценам за двести рублей). Передвижная механизированная колонна понастроила Любятову кварталы новых домов. Только себе Иван Степанович дома не выстроил — не тот был человек, вечная и добрая ему память... Вот в этом латанном-перелатанном, строенном-перестроенном аккуратном домике мы и ведем с Полиной Георгиевной наши долгие разговоры, рассказываем друг другу все, что с нами было.

— Вы непременно надо мной смеяться будете, а я ведь только два раза в жизни волосы в парикмахерской завивала и всего считанные разы маникюр с лаком делала. Убеждена, негоже учительнице перед учениками расфранченной появляться: и внимание пестрота отвлекает и что-то непедагогическое есть в блеске накрашенных ногтей, а главного, чистоты-то самой, не видно, — считает Полина Георгиевна.

— А где побывали, что повидали?

— Я-то? Да повидала Чудское озеро свое, леса и поля, Псков, Ленинград ,и, конечно, Москву. Дальше нельзя. У нас с Людмилой Васильевной Шашиной — это вторая наша учительница, надежный и талантливый педагог — такой порядок заведен: все лето по вторникам в школу ходим.

— Зачем?

— А у нас в Лисьих Горках пока ни клуба, ни кинотеатра нет. В город каждый раз все же далековато ездить, вот молодежь по старой привычке и собирается у школы. Где-то им надо собираться! Школу они берегут, все здесь учились. Но на произвол судьбы оставлять нельзя — мало ли что? А так все знают — учительницы тут. Значит, надо вести себя как положено. Наши ученики, все, кто не в пионерлагерях, знают — каждый вторник что-то будет. Ходим в луга гулять, смотрим, как хлеба растут, цветы собираем. Надо для будущего заронить в них хоть искорку интереса к ботанике, ко всему зеленому, сельскому. Жизнь-то у нас тут полугородская. Нет-нет, нельзя ребят на лето без учительского глаза оставлять — одичают без школы, волчьей шерстью обрастут...

Тут мы хохочем, потому что «волчья шерсть» — это типично псковское выражение, а мы немножко соревнуемся в знании псковских диалектов.

— А отпуск как же?

— Отпуск учительский длинный. На все времени хватит — почитать, повязать, новые коробки для учебных пособий поклеить, стенды обновить. Учебники почистить и подлатать тоже надо.

— Это же работа, какой же отпуск?

— Нет, отпуск! Мне нравится всем этим неспешно заниматься. Когда, если не летом, по книжным магазинам походить, новые пособия приглядеть? Да и хорошо у нас здесь, на Псковe — цветов сколько, клеверком пахнет. Приезжайте ко мне! Куда ехать-то, от добра добра искать? Зимой мне, конечно, теперь топить тяжело — совсем некогда. Может быть, квартирку в городе получу — обещает райисполком. Но Любятово навсегда милым сердцу останется — здесь лучшие годы прошли. Я в семейной жизни счастлива была. Сыновья хорошие, оба коммунисты. Разлетелись, конечно, но не забывают меня. Однако свое, личное остается с человеком навсегда.

— Попутешествовать бы вам, может, и развеялись бы грустные мысли?

— Пробовала — не выходит. Знаете, постоянство вашей профессии в перемене мест. Постоянство моей — в приверженности школе, ученикам, определенному месту, словом.

Полина Георгиевна страсть как не любит, когда ее отрывают от учеников, — ритм жизни нарушается. И не может уместиться все, что надо рассказать о ней, на журнальных страницах: все, что вокруг Полины Георгиевны, все, что связано с ее жизнью и работой, — большие и отдельные темы для размышлений. Будь то флажки, что стоят на партах отличников, красные звездочки рядом с каждой пятеркой в тетрадках, коллекция вырезанных отовсюду, откуда можно, с большим вкусом отобранных репродукций для украшения тетрадей и сочинений, культ парт и всего школьного имущества, классные плакаты и карты... В маленькой школе над тихой речкой Псковой добрая русская женщина с русской судьбой, ровесница Зои Космодемьянской, каждый день творит неиссякаемо, убежденно. И я завидую тому, кто, однажды войдя сюда, выйдет с замыслом новой «Педагогической поэмы».

Ветераны-фронтовики у братской могилы в селе Глубокое.

Фото А. МАСЛОВА

Юрий БОНДАРЕВ

РОМАН

Рисунки П. ПИНКИСЕВИЧА

ВЫБОР

В то утро ему позировал режиссер Щеглов, родной дядя Марии, сухощавый, живой, подвижный, несмотря на почтенный возраст, и в позе раскованной вольности он то и дело закладывал ногу за ногу, отчего узкие зеленые брюки подтягивались на тонкой щиколотке, выказывая полосатые носки, модные ботинки на толстой подошве. Он не мог позировать спокойно, беспрестанно курил, говорил, острил, трескуче кашлял, и сухое лицо преображалось ежеминутно, становилось то загадочно-игривым, то сатанински лукавым, то мудрым ликом усталого сатира, создавая эти перемены выпуклыми глазами за стеклами очков, ядовито выразительными складками энергичного рта. И его ироническая терпкость речи, нацеленная на все сущее, в том числе и на самого себя, мнилось, не способна была иссякнуть, остановиться на чем-либо одном, освобождая Васильева от всякой необходимости занимать вопросами натуру.

— Это, конечно, грандиозно, однако не понимаю, голубчик Владимир Алексеевич,— говорил Щеглов, немного картавя с томной аристократичностью, стряхивая пепел в железную пепельницу на подлокотнике кресла.— С ума сойти! Уже уйму времени вы возитесь со старым мухомором, шутом гороховым, который и для портрета собственную рожу умно сочинить не может! Плохо держу позу. Увольте — не способен. Не уразумею, зачем вам время. Торопясь, почти ударяя кистью по холсту, Васильев хорошо слышал звук его голоса, однообразное кряхтенье, изображающее смех, но слова и смех Щеглова проходили стороной, понять их смысл мешал морозный снежный свет, веселый, уже февральский в утренних окнах, снизу сплошь заросших ослепительными папоротниками, сверху пронизанных нозимней голубизной неба, и солнечное чистое утро, и скользящее неутомимое лукавство за стеклами щегловских очков, и привычная обстановка мастерской, и эта добровольная ссылка в себя, в одиночество, как говорил он иногда, без чего нельзя сосредоточиться, найти счастливое положение равновесия,— все было так, как бывало всякий раз, когда он весь уходил в работу, и вместе с тем не было полного растворения в этом состоянии, точно след давней тревоги тлел в его душе.

«Нет, это не после Венеции со мной что-то произошло. Нет, два года назад началось какое-то смутное беспокойство после той опасной болезни дочери. Или это раньше началось?..»

— У вас странное лицо, голубчик Владимир Алексеевич, вы меня не слушаете?

— Я слушаю, Эдуард Аркадьевич. Вот... посмотрите сюда, чуть-чуть правее холста,— сказал, встрепенувшись, Васильев и показал кистью, куда следует смотреть.— Вот так. Спасибо.

— Вижу гениальную, грандиозную пьесу о жизни негероического мужчины. Но кто автор? Где Свифт? Где Салтыков-Щедрин? Увы! Среди драматургов унылое засилье базарных талантов, друг другу на ноги тщеславно наступающих.

Щеглов говорил и поглаживал, ласкал изысканно-тонкой, плавной кистью подлокотник кресла, прицелив вспыхивающий мелкими колючими искорками взгляд чуть правее холста:

— Так вот она, жизнь мужчины: до двадцати молодому индивиду воображается, что он бессмертен, а впереди все радужно, сплошные фанфары, любвеобильный почет, лавровые венки от сослуживцев, мировое признание открытий, восторженное рыдание поклонниц, и уж, несомненно, Перикл, Сократ и Лев Толстой перед его гением — жалкие голопопые щенки. Далее вступает в дело реальность: до тридцати пяти лет — женщины. Тут он познает разные прелестные вкусовые качества — от карамели и меда до уксуса и горчицы. Но, разумеется, главным образом дистиллированную воду. И не утолив жажду, он после сорока лет испытывает зверский голод. То есть потребность хорошо поесть и, что называется, приняв с исключительным аппетитом рюмку водки, как пролог к священнодействию, муж познает чревоугодие. Итак, что дальше? Дальше после пятидесяти — воскресное лежание с газеткой на диване, телевизор и сон, продолжающий удовольствие сытной трапезы. Но иногда вопрос, как стук молоточка по темечку: неужели скоро конец? После шестидесяти у одних особей — наслаждение воспоминаниями удалой молодости, у других — паническая боязнь болезней и страстная любовь к парковым скамейкам и домоуправлениям, а по ночам у всех одно — бессонница и страх одиночества перед одиночеством вечным. Как вам нравится такая грандиозная картинка?

Взгляд Щеглова адски посверкал и, остро веселея, сорвался с точки в пространстве, побродил в папоротниковых зарослях солнечного инея на окне, как бы играючи заготовив там следующую мысль, и Васильев тщетно силился проникнуть, сняв подогнанную одежду его формул, к чему-то невысказанному, главному, чего никогда не касался он, как не касался и своей скрытой от всех далеко не монашеской и не аскетской холостяцкой жизни. Он был родным дядей Марии, и, давно зная Эдуарда Аркадьевича, вездесущего, нещадного, энергичного человека без возраста, Васильев ни часу, однако, не видел его ни серьезным, ни задумчивым, ни самоуглубленным, только изредка возникало на секунду в донной глубине его сарказмом искрящихся глаз нечто осеннее, печальное, связанное, казалось, с шорохом листопада, с постукиванием капель ноябрьского дождя в уже оголенном саду... Но это ощущение осени могло быть одним воображением Васильева, и, вероятно, поэтому выбрав Щеглова, натуру трудную, не умеющую держать позу для портрета, он так долго с перерывами работал, исправлял, переделывал, не находя того, что хотел найти в естестве его.

«Но что я хочу найти в нем? Угадать, какие мысли приходят ему в длинные стариковские ночи? Каков он на самом деле?»

— Кстати, Владимир Алексеевич, позволю заметить,— продолжал между тем Щеглов.— Личности крупные сомневались и искали, таким образом, мало имели радостей на этой земле, потому что во имя истины дарили себя роду человеческому, который вовсе уж не сразу благодарно принимал их. Напротив — легион милых завистников, армия посредственностей осмеивали, даже сжигали и распинали непохожих на себя особей, именно так! Таким образом: смеет ли человек усомниться в сомнительном? Смеет? Нет? Как писать — гегемот или гигимот? Как, позвольте, «ге» или «ги»?.. Кто прав — гении или посредственности?

Указательный палец Щеглова взметнулся в воздух, выписал в полете стремительные вензеля вопросительных знаков, и заблистала солидная золотая запонка на жестком манжете, и внушительно колыхнулся крыльями черный галстук-бабочка под зеркально-бледным острым подбородком.

заплесневелый лицедей, совсем уж не павлин-птица, а старый дикобраз в модных парижских брюках? Впрочем, в нашем мире все милая, расчудесная, знаете ли, игра в лицедейство. Что? Нет? Балаган, сцена, одна и та же пьеса — и поразительная драматургия! Согласитесь, что человек всю жизнь играет и редко бывает самим собой,— бог ему простит. Положим, родное искусство — развлекательная игра ума и чувств. А любовь? Самая грандиозная игра полов. Правда — лукавая игра с ложью в прятки. А ложь — игра в правду. Далее, заседания, совещания и прочая — не игра ли это взрослых людей, старательно делающих серьезный вид? Теперь, скажем, слава и властолюбивые потуги — игра самых сильных и самых алчных. Лишь смерть прекращает всякую игру, но... потом начинается игра других — панихида, похороны. Боже, прости, жизнь и смерть — это грандиозный театр! А сам театр — жалкая миниатюрка жизни и смерти...

Он не смеялся в голос, только въедливо покряхтывал, постанывал смехом, взглядывая сквозь стекла очков проникающими глазами, потом вкусно подносил сигарету к змеисто-узким губам, вкусно выдыхал дым длинной струей и то и дело принимал позу человека, вынужденного в безделье нескучно провести

— В чем же истина? В чем? Однозначна ли она? Нет ли в ней прямой и обратной стороны? Классическая ясность «да» или «нет» появится тогда, когда мы твердо определим, что есть счастье. М-м? Так что же оно? Дважды два? Прелестная падающая звезда в августовском небе? Или сумма плотских наслаждений? Или каждодневный мир с прошлым и настоящим? Или одержимость, так сказать, вдохновение, как бывает у вас, Владимир Алексеевич! Или счастье — мечта жить в раю голубых снов? Или любовь к человеку? М-м? Но гуманизм ли, если врач при родах спасает ребенка-урода и тем самым на всю жизнь возлагает тяжелейший крест на плечи матери? Однако есть единственно возможный абсолют: человек может быть счастлив только в детстве, когда пребывает в состоянии этакой душевной неразвращенности. А этот период так в нашей жизни быстротечен! Так как же правильно писать — гегемот или гигимот? А? Кха, кха... мм? Тем более, что сами слова — лишь тени мыслей, вернее, верхняя одежда мыслей. Так «ге» или «ги»? Или все-таки бегемот?

— Одержимость и вдохновение в искусстве — тоже не абсолют счастья,— проговорил Васильев, стараясь поймать на холсте веселозмеистую особенность живых и тонких губ Щеглова.— Одержимость не может быть счастлива в погоне за совершенством, а неудовлетворению конца нет...

Продолжение. См. «Огонек» №№ 38—42.

— Несом-нен-но! — артистично порхнул в воздухе плавной кистью Щеглов, не дослушав, и заговорил со скользящей легкостью: — Заметьте милый и грандиозный парадокс! Чем больше люди познают и разрушают вековое, тем примитивнее становятся их чувства, увы! Крупные купюры добродетели разменялись на медяки кухонных склок и служебных подсиживаний. Заметьте, что гипертрофированно усовершенствуется рациональный разум и практицизм, в то время как сердце всеми забыто. И что же? Что же? Шекспировским страстям в век пластмассы не бывать уже. Любвишка какая-то бытовая. Ненависть — рыночное недоразумение в очереди за ташкентским луком. Скромность стали считать глупостью и недотепством, хамскую грубость — силой характера. Сплошное опупение и пнизм от слова «пень»! Эт-то, конечно, грандиозно! Пощечина подлецу, как в добрые времена мужской чести, — о, какая неблагоразумность и бессмыслица, какое архаичное донкихотство! И только зависть, жесточайше душу гложущая, расцвела волшебным розарием в новом мещанстве. А?.. М-м?.. Завидуют страстно, как сумасшедшие, и по всем габаритам: деньгам, модной юбчишке, новой квартире, здоровью, даже миниатюрному, мало-мальскому успеху. А? Кха... И вследствие этого тайно, но сладострастно радуются чужому неуспеху, протекающему потолку у соседа, ячменю на глазу, безденежью, болезни и — не содрогайтесь! — даже смерти бывшего удачника: он уже там, а я еще тут. Или: как хорошо и справедливо, что его погребли на Востряковском, а не на Новодевичьем. Завидуют повально — и дворник, и актер, и замминистра. Что? Министр? О, боже упаси, он — нет, ни в коем случае, он, несомненно, лишен некрасивого, порочного чувства. Итак, зависть — всесильная царица проституток мира. Вожделенная и обольстительная девица. Вот куда уходят нервные клетки страстишек: поклонению ей, куртизанке в пропахшей чужим одеколоном чужой постели! Очаровательно и мило, не правда ли?

— Ну, а вам кто-нибудь завидует? — спросил Васильев, чтобы передохнуть от едкой разрушительности, от потока пропитанных иронией и желчью фраз, утомивших его беспощадной игрой насмешливого ума Щеглова. — Вам кто завидует?

— Мне? Бог миловал. Я вполне современный человек. Завидую сам. И страстно!

— Кому?

— Каждому мужчине на улице, который идет с красивой женщиной.

— Сколько вам лет, Эдуард Аркадьевич?

— Благодарю за комплимент. Шашнадцать с половиной. Одначе, дорогой Владимир Алексеевич, мне пора сматываться на репетицию. Впрочем, актеры чудесно могли бы обойтись и без моего режиссерского присутствия. Лицезреть им меня наверняка осточертело!

— Еще пять минут я вас задержу...

— Наше заблуждение в том, что мы ползаем вокруг истины, как слепые щенки, а думаем, что мы взрослые, солидные собаки.

— Мне кажется, вы смеетесь над жизнью, Эдуард Аркадьевич, — сказал Васильев. — Изливаете на нее яд, смеясь. Но почему именно вы? Вас жизнь, по-моему, никогда не обижала.

Щеглов отбросился в кресле и маршеобразно забарабанил пальцами по деревянному подлокотнику.

— Почти все обижены на земле, мой дорогой и талантливейший Владимир Алексеевич. Я добрая старая собака и знаю, что жизнь требует, чтобы ей давали пощечины любя, иначе она будет вкатывать их вам ненавидя. Вижу, голубчик, что вы против эдакой превентивной стратегии.

— Это безумие, мы захлебнемся в море слов, в остроумии, в ехидстве над жизнью и погибнем, — сказал Васильев, уже несколько минут не работая, стоя у мольберта и опустив руку с кистью. — Кому предназначены цветы из вашего риторического сада? Актерам? Мне? Я не люблю запаха жженой серы, представьте, и всякую чертовщину.

— Никому. Я рассыпаю их по дороге и наслаждаюсь чужим наслаждением, — засмеялся Щеглов с вежливой холодностью.

«Да, я устал немного, — подумал Васильев. — Но почему он вызывает у меня какое-то беспокойство, как будто случилось несчастье? «Мы ползаем вокруг истины, как слепые щенки».



Помнит ли он октябрь сорок первого года, себя в те дни, Машу, меня, Илью? Мы были тогда прекрасными, глупыми, отчаянными щенками, а он был еще молодым...»

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Да, был октябрь одна тысяча девятьсот сорок первого года.

В то время как немецкие танки продвигались к окраинам Москвы, разламывали, расплющивали скованную утренними заморозками проселочную грязь, стряхивая железным лязгом гусениц, ревом моторов последнюю ржавую листву с придорожных берез, еще местами уцелевшую от острых ночных ветров, дующих предзимним холодом с севера по осенним лесам, через которые еще продолжали вырываться из окружения остатки державших передовую оборону полков, в то время как перекрестки на Варшавском и Можайском шоссе были забиты колоннами немецких грузовиков, бронетранспортеров, обозами конных фур, а деревни заняты пехотой и подтягивающимися к фронту разными тыловыми службами, заранее знавшими районы, улицы и дома своего будущего расположения в русской столице, по ночам охваченной близкими заревами, куда с булькающим гулом в поднебесных этажах проходили «юнкерсы», в то время как была взята Калуга, шли бои под Серпуховом и Можайском и немцы после тяжелых смоленских боев, завершив окружение трех армий Брянского фронта, определяли точный срок захвата Тулы и день падения Москвы, — в это же время вместе с тысячами других школьников и студентов, рывших противотанковые рвы на Можайском направлении и отрезанных прорвавшимися немецкими танками, Владимир и Илья, присоединившись к группе солдат, удачно выбрались по лесам к Москве и, голодные, грязные, возбужденные, на рассвете ступили на родные тротуары Замоскворечья, пройдя весь город. Дважды на улице Горького их останавливали патрули, потом третий раз вблизи кинотеатра «Ударник» опять проверили документы (кроме комсомольских билетов, других удостоверений у них не было), и, от ног до головы осветив карманным фонариком, лейтенант с новыми рубиновыми кубиками в петлицах подозрительно стал разглядывать их комсомольские билеты, спрашивая суровым баском, откуда

двигаются, куда и с какой целью. И тут Илья зло вспылил, выговорил сквозь зубы, что лучше бы немецких диверсантов ловили, чем идиотские вопросы задавать, и тогда старший патруль, удивленный его натиском, вернул документы, скомандовал: «Проходите!»

Нигде в городе не светилось ни одного огня. Мешки с песком баррикадами лежали под окнами первых этажей. Едва узнаваемые, погруженные в холодную темноту улицы, насквозь продутые октябрьским ветром, пахли инеем, недалеким снегом, и везде над головой туго свистело в антеннах на крышах, за которыми в черном небе, загораживая звезды, тенями плавали в ледяных высотах рыбообразные тела аэростатов воздушного заграждения.

В этом гуле проводов, свисте ветреной ночи выделялись другие звуки какого-то спешного движения на мостовой, похожего и вместе непохожего на обычное перемещение войск. Грузовики без солдат, заваленные ящиками и мешками, легковые машины, хозяйственные повозки то и дело проезжали мимо, чернеющей массой скапливались на площадях, откуда доносились приглушенные команды регулировщиков, фырканье лошадей, ругань шоферов и повозочных. Постепенно сгущенная масса колонны рассасывалась, поворачивала, вытягивалась на Садовую, и вновь проносились, встревоженно сигналили начальственные «эмки», синея маскировочными подфарниками, объезжая лошадей и повозки, которые, как ломовые, гремели колесами по асфальту, по трамвайным рельсам.

Здесь же, на соединении улиц, перед площадями, оставив лишь узкий разрыв для движения, торчали ребрами «ежи», наклонно висели врытые в землю толстые пики рельсов, эти противотанковые сооружения, воинственно и уродливо преобразившие город, и в этом изменении было что-то новое, жуткое, как и в запахе гари, которую они впервые почувствовали там, под Можайском, когда ветер приносил пепел горящих деревень. Но тут, в Москве, не было видно тлеющих пепелищ пожаров, а запах пепла в крепкой свежести воздуха накатывал волнами, и иногда чудилось, что в глубине дворов всюду жгли бумагу.

После того как их несколько раз задерживали патрули, Владимир предложил по дороге к Зацепе нигде не останавливаться, мигом вбегать под арки ворот, заходить в подъезды, чуть только впереди завиднеются люди, потому что издали не разберешь, патрули или не патрули. Однако в знакомых переулках вокруг Зацепы не встретили ни единого прохожего, не проблеснуло ни огонька в окнах, ни одной машины не проехало по мостовой. Все подъезды были закрыты, ворота заперты на засовы; ветер шумел в дворовых липах, темные тени качались, скреблись о заборы, ворохи листьев с жестяным корябаньем волокло по асфальту, с сухим шорохом несло по ногам, собирало у подворотен шевелящимися кучами. Здесь, в переулках, обдавало первым октябрьским морозцем, винным подвальным запахом, а меж качающихся деревьев в неоглядной пустыне неба красным и белым лихорадочным огнем горели две крупные звезды.

— Марс и Юпитер,— сказал бегло Илья.— Вот сверкают, а?

— Марс — бог войны, кажется,— ответил Владимир.— Помнишь?

— А к черту помнить всякую чепуху из истории Древнего Рима! Кому это нужно? А может, это не Марс и не Юпитер.

Но они еще хорошо помнили недавнюю Лужниковскую, веселую, солнечную, зеленую, и на углу оба не выдержали и рванулись к воротам своего двора, а когда, запыхавшись, остановились около калитки, откуда был виден их двухэтажный дом, загороженный липами, в эту минуту у пожарного гаража на другой стороне улицы, где обычно стояла будка дежурного, грозно всполошился сиплый оклик: «Кто там? Стой! Стрелять буду!» — и враждебно заскрежетал затвор винтовки.

— Свои, свои, если не шутишь! — отозвался услышанной на окопах солдатской фразой Владимир, подхваченный бешеной радостью оттого, что были они дома, наконец.

— Хрен с маслом в базарный день! — захохотал Илья.— Стрелять-то умеешь? Чего тюленем голосишь?

И они кинулись в калитку, хохоча, толкая друг друга, но сразу же во дворе, по-осеннему заполненном текучим шумом лип, плотная тьма, расчерченная бумажными крестами окон, окружила их, и они замолкли, осматриваясь по дороге к крыльцу, угольно-черная крыша которого заслоняла свет двух звезд над двором.

Тамбур был заперт. Никто не открыл им, когда позвонили двойными, тройными звонками, никто не открыл и после того, как минут десять упрямо колотили кулаками, упорно дергали шатавшуюся дверь. Во всем доме, вероятно, никого не было. Тогда, выругавшись, Илья спрыгнул с крыльца, на ощупь подошел к липе, росшей вплотную к стене дома, подтянулся на оголенной ветви, точно на турнике, и начал забираться вверх, что не раз делал в детстве, к окнам своей комнаты на втором этаже. Владимир стоял внизу, видел, как он долез до второго этажа и там, повиснув на ветвях, постучал в стекло так решительно и громко, что эхо выстрелами толкнулось в глубине двора. Затем послышался сверху его недовольный голос: «Ма-ама, да что ж ты? Оглохли все?» — и он скатился по стволу дерева на землю, раздосадованно говоря:

— Сейчас мать откроет. Неясно: чего они, как мыши, в норы попрятались?

Дверь открыла Раиса Михайловна, наспех одетая в халат, выговорила слабым вскриком: «Ильюша, Ильюша!..» — и отступила на шаг, нетвердо держа керосиновую лампу перед грудью, и на ее лице, еще красивом, чернобровом, выражение страха сменилось выражением страдальческой радости: «Как хорошо, что это вы, мальчики, как хорошо!..» А Илья, снисходительно чмокнув мать в щеку, взял у нее лампу, быстро пошел вверх по лестнице, крикнул на ходу:

— Покеда, Володька! Завтра с утра заходи!

— Володя, подожди минуточку,— задержала Раиса Михайловна заторопившимся голосом.— Подожди, пожалуйста, подожди. Я тебе должна сказать... Твои уехали в Свердловск. Здесь была эвакуация. Всех с детьми эвакуировали. Кого на Урал, кого в Среднюю Азию. Они уехали месяц назад. Вместе с заводом. У меня письмо и записка для тебя и ключ... Но ты у нас пока... у нас побудь...

— Тем лучше! — воскликнул Илья обрадованно.— Пошли к нам, веселее будет! А пожрать чего-нибудь найдем. Верно, мать?

— Дайте мне ключ,— попросил Владимир.— Я сначала к себе...

То, что мать и отец с четырехлетним братом месяц назад уехали в Свердловск, эвакуировались с заводом (где отец работал инженером), не дождавшись его, и то, что оставленный ключ словно бы доказывал их равнодушное спокойствие, было сейчас обидно ему.

Он открыл дверь оставленным ключом, нащупал в первой комнате выключатель, и свет загорелся немощно, обессиленным накалом.

В смежной комнате также хилый оранжевый свет абажура повис в тесной полутьме, тускло проявляя знакомую мебель, завешенные маскировочной бумагой окна; книжный шкаф отливал возле письменного стола лиловыми бликами стекол; скрипнули половицы, запахло маминой пудрой, к этому родственному запаху примешивался невнятный ветерок холодноватой пыли, какие-то мышиные шорохи в опустелом доме — и Владимиру стало не по себе.

Там, под Можайском, когда присоединились к красноармейской группе, бродили по лесам, отрезанные от Москвы, он не так воображал возвращение домой, представляя вечер и уютный час ужина, эти комнаты в теплом электрическом сиянии, родные, любящие его лица за столом и себя, рассказывающим о первой бомбежке, о немецких листовках, разбросанных ночью, об окружении... Но дома его никто не ждал, и сохранившийся запах маминой одежды в шкафу, охлаждаемый мертвенным ветерком заброшенности, ознобно пронзил его сквознячком. Может быть, все это было началом новой, давно ожидаемой жизни, что манила опасностью куда-то в неизвестное?

Он попытался прочитать письмо и записку и не разобрал ни строчки, с беспечностью решил прочитать утром, сунул конверты в карман, потом умылся под краном ледяной водой и, не защелкнув дверь на замок, пошел по коридору к Рамзиным.

Большая комната Рамзиных была озарена керосиновой лампой, особенно яркой, с начисто протертым стеклом. Илья стоял у комода, не без замедленного удовольствия причесывал перед зеркалом влажные волосы. Белый спортивный свитер, который он любил надевать на школьные вечера, крепко обтягивал его плечи, и в этом свитере, в мокрых волосах, блестевших празднично, в горячем взгляде, брошенном на Владимира, была веселая уверенность сильного, довольного собой и своей судьбой человека, наконец-то имеющего возможность насладиться домашним благом после долгого путешествия по дальним странам.

— Вообще, мать, нам полагалось бы с Володькой чего-нибудь дербалызнуть! У тебя в буфете когда-то портвейн стоял на всякий случай! — говорил он, не оборачиваясь к Раисе Михайловне, собиравшей на стол, и подмигнул в зеркале Владимиру.— Мы, мать, удачно вышли из окружения, две бомбежки на переправе проскочили, раз под минометный огонь попали, но ни черта с нами не сделалось! Домой пришли, и все в порядке. Садись, Володька, сейчас рубанем картошки и тяпнем портвейна на смерть немецким сволочам!

— Как ты грубо говоришь, Ильюша, какими-то не своими словами,— сказала Раиса Михайловна и пригласила Владимира к столу.— Неужели вы пить научились на оборонных работах? Как же так?

— Ладно, мать, приходилось пить не только молоко и воду,— ответил Илья и ловко взял бутылку портвейна, поставленную на стол Раисой Михайловной, очистил от сургуча пробку, ввинтил штопор и вырвал пробку звонким хлопком.— Ну, теперь, хенде хох, теперь мы отпразднуем, как полагается. Ты будешь с нами, мать?

— Перестань дурачиться со своим портвейном! — остановил Владимир, покоробленный излишней решимостью Ильи и тем, что Раису Михайловну он чересчур по-новому называл «мать», а это звучало непривычно.

А Раиса Михайловна разложила в тарелки ароматно дымящуюся картошку, кусочки пахучей разваренной рыбы, дольки желтого сливочного масла, и запах домашней еды, запах горячего заваренного чая, чистая скатерть, этот милый дух родного московского дома возвращал их на четыре месяца назад, в еще довоенное школьное время, радостное, летнее, беззаботное. Все уж было другим, угарно тронутым войной, но обоим, возбужденным возвращением в Москву и рюмкой сладкого портвейна, недавние голодные скитания по ветреным можайским лесам, где на шоссе гудели моторы и слышалась немецкая речь, теперь казались малоопасным, приятно щекочущим нервы военным приключением.

В эти минуты одно лишь беспокоило Владимира — эвакуация семьи в Свердловск,— и ему захотелось немедленно прочитать письмо и записку матери, которые шуршали в его кармане. Он перестал слушать рассказ Ильи о веселой и суматошной августовской ночи на окопных работах, когда, вооруженные лопатами, до рассвета ловили во ржи (но, к сожалению, не поймали) немецких парашютистов, осторожно вынул из кармана конверты и сначала прочитал записку, написанную на тетрадном листке ровным почерком матери:

«Дорогой сын Володя! Прости нас, что получилось так, что мы не дождались тебя и уезжаем в Свердловск, куда эвакуируют завод отца. Уезжаем с последним поездом, все ждали и ждали тебя со дня на день, так как в райкоме комсомола говорили мне и отцу, что все ребята из вашей школы должны вот-вот вернуться с оборонительных работ. Мы все тянули с отъездом, а потом отцу приказали. Ты нас пойми. Завтра мы решили ехать. Я надеюсь, я верю, сыночек, что с тобой все благополучно. Адрес новый сообщу сразу, как приедем на место. Целую тебя, дорогой Володя. Твоя мама. 19 сентября 1941 г.».

Потом он спрятал записку и прочитал письмо, что было послано с дороги, опущено в Казани, мать писала, что очень беспокоится, потому что он, Володя, вернувшись домой «с окопов», сразу должен взять железнодорожный билет и ехать следом за ними в Свердловск, где найдет их завод, а деньги на билет, на дорогу и на еду оставлены под его бельем в шифоньере.

Продолжение следует.

Татьяна АНДРОНОВА

ШЛА ДОЛГО К СЕРДЦУ ТВОЕМУ



* * *

Все бы переделать мне теперь:
по-другому в жизнь свою собраться,
распахнуть совсем другую дверь,
по другим дорогам спотыкаться;

по другой траве в саду брести,
имена другие окликая;
и дрожала бережно б в горсти
не ромашка, веточка другая;

на другом бревне, в избе другой,
может, мой портрет бы появился;
иль камин-оранжевой дугой,
томно светел, трепетно клубился;

и другие окна отражать
стали бы меня в прозрачном плене,
чтоб другие думы провожать
и ценить другие перемены;

по-другому на чужих людей
поглядеть и встретить взоры жестко,
так, чтоб яд язвительных очей
пережить, как громы в небе, просто;

чтоб другие, смутные черты
стали явью, горячо любимой.
Но другая песня немоты
на душе звучала б нестерпимо!

Но опять хотелось бы в конце
этот мир изведать по-другому,
чтоб в своем заплаканном лице
не увидеть горечи знакомой;

и мечтаний бесконечный круг
разгадать, как жизни бесконечность,
как бессилье. Испугавшись вдруг,
возлелеять нежность и беспечность.

* * *

Вот приближаюсь к той стене заката,
куда без отдыха ползет моя стезя
и цен не ведает ни серебро, ни злато,
бесценно время лишь, хранить его
нельзя,—
я все тревожнее смотрю в туман дороги:
«Не быстро ли иду к концу, где нет
начал?» —
зову в простор и жду ответа многих,
кто обогнал давно, а правду умолчал.
И все ревнивее оглядываюсь, чаще
на прошлый день: он светит для других.
Как было бы теперь и радостней и слаще
прожить его опять (и множество таких!).
Но ты глаза свои, жалеющие тайно,
небрежно отведи, забывчивость кляня,
и, понимая вдруг, сколь юность
не бескрайна,
в душевной доброте не оскорби меня.

* * *

Шла долго к сердцу твоему
и с недоверьем и тревогой.
Так нищий, взявшись за суму,
угрюмо смотрит вдоль дороги,
не зная, где, у чьих ворот
ему протянут от щедрот
земных страстей кусочек счастья,
где ждет позор и где привет,
где равнодушье иль пристрастье,
кто вон прогонит и кто нет.

Так я, в усталом ожиданье,
скорбя от выдуманных бед,
с одной надеждой на вниманье
среди других ищу твой след.
Вдруг не безличным многословьем
простых забот — святой любовью,
как солнцем, одаришь меня?
Но становлюсь, увы, добрее
к чужой душе, сама щедрее
на пониманье день со дня.

* * *

Как срок придет, то тенью молчаливой
я пролечу над спеющею нивой,
ее коснусь невидимой рукой,
и солнцем прокаленные колосья
зерно на память мне в ладони бросят;
и я скользну над синею рекой
к холмам знакомым, к чаще у пруда,
где темная, заглохшая вода.
И вот внизу увижу все дороги
и все деревья у дорог моих,
и все мои любимые пороги
и самые родимые из них;
и дорогие крыши, будто спины,
навстречу разогнутся средь рябины,
и окна, как открытые глаза,
прозрачным взглядом грусть мою удвоят,
и скошенной поляны бирюза
веселой лентою потянется за мною,
и я, вздохнув, кивну ей головою.

Но две сосны с прильнувшими стволами,
как крыльями, смолистыми ветвями
задержат тихий, медленный полет;
и я укроюсь в их колючий свод,
чтоб мир людей, не сдерживая слезы,
прощальным взмахом проводить, скорбя.
Потом на миг у внуковской березы
еще живого встречу вдруг тебя.

* * *

Всех жалея, плачу над собою,
что прошло так много лет и зим, —
когда стал мне дорог и любим
мир людей с короткою судьбою.

Не скрываю нежности я к юным,
помню твердо, есть простой зарок:
под широким небом и лазурным
им, как всем, пробыть один лишь срок.

Оттого-то с добрым пожеланьем
в молодые лица загляну,
с пристальным, застенчивым вниманьем
вспомню вдруг-я и свою весну.

Но быстрей, решимостью угрюмой,
отгоню от сердца боль и страх.
В робких, неулыбчивых глазах
остается жить незлая дума.

* * *

Горька сейчас моя любовь к тебе,
последняя боль сердца. И смятенье
всегда со мною, равное в борьбе
между счастливым днем и наважденьем.
То дух предчувствия, повсюду его след:
охотится, кружась, за призраками бед
и не глядит в глаза, летает в отдаленье,
скрывая до поры свой ненавистный лик,
и догоняет вдруг чужой душевный крик
и рвет, терзает грубыми когтями.

Печаль любви не выразить словами,
она, как на исходе жизнь, безгрешна,
бессильна пред концом и безутешна.
И ни святых надежд, ни возвращений, знаю.
И я покорно голову склоняю.

* * *

Мне жаль своей улыбки на губах,
когда смотрела я легко и простодушно,
хоть лица есть, несложна и груба
в них радость жизни, мысли их—бездушны,
и не вернуть назад горячих, милых слов,
как будто бы не понятых тобою.
Тот вечер в поле был прозрачен и лилов,
с чуть видною луной и первою звездою,
с качанием травы и сумраком в логу
и с тишиной кругом и с белыми садами
вдали, под небом. Долго берегу
я память прошлую, стоит перед глазами.
Я вижу до сих пор, что облака горят
неярко и плывут в безветрии раздольно,
и вижу до сих пор притворный, зоркий
взгляд
и быструю усмешку — злую вольность.
А сколько протекло и бедствий, и забот,
и скудости земной! В великом изобилии.
Но боль раскаянья всегда со мной живет:
заноет сердце вдруг в презренье
и бессилии.

* * *

Разбросали дубы у аллеи
слезы-желуди в серый бетон.
Будь сегодня ко мне подобрее,
чтоб услышать бессонницы стон
и простить мне ничтожные думы
и бессмысленность жизни моей:
чуть виднеется парус угрюмый
уплывающих дней-кораблей!
И весенним росточком, я знаю,
не взойдет ни судьба, ни молва.
Без надежды и грустно бросаю
я горячие эти слова.

* * *

Вражду и заблуждения прощать
учусь я неустанно у народа.
великий сердцем, о себе кричать
не любит он под вечным небосводом;
и, отдавая краткой жизни нить
и понимая слабость и страданья,
не поспешит с проклятьем осудить
и дел тщету и призрачность мечтанья.
И если время сумрачной бедой
свой шаг тяжелый остановит рядом,
глаза людей проходят чередой
перед моим уставшим, тихим взглядом.

* * *

Так я скажу: однажды показалось,
что все мои усилия слабы,
что, будто гриф, летит ко мне усталость
под небом бесконечно голубым,
над пашнею апрельской в возрожденье,
над старой рощей с новою травой;
и черных крыльев низкое круженье
щемило сердце тенью неживой.
Но вдруг гляжу: да это только туча
несет дожди, чтоб их пролить скорей
с веселым блеском капелек летучих.
Ты, жизнь любимая, становишься мудрей!

150-летие знаменательной в творчестве А. С. Пушкина Болдинской осени мы отмечаем публикацией статьи известного советского литературоведа Ильи Львовича Фейнберга (1905—1979), книги которого «Незавершенные работы Пушкина», «История одной рукописи», «Читая тетради Пушкина» являют собой яркий пример сочетания в одном человеке таланта строгого ученого-исследователя и дара талантливого писателя. Данная работа сохранилась в архиве И. Л. Фейнберга.

В МАСТ

Илья ФЕЙНБЕРГ

Друг Пушкина и друг Гоголя А. О. Смирнова сказала, что ничего нет поэтичнее жизни и смерти Пушкина.

Сама жизнь его совершенно русская, сказал о нем Гоголь. Да и смерть тоже.

Недавно я вновь побывал на набережной Мойки — в последней квартире Пушкина. Там в застекленном ящике выставлен сохраненный Вяземским черный жилет, который был на Пушкине в день дуэли. Вместе с черным жилетом под стеклом видна белая перчатка Вяземского, другую он положил в ящик, когда заколотили гроб. Еще там видна восковая зеленоватая свеча с отпевания Пушкина.

Когда вы видите все это и рассматриваете, создается впечатление, что вы стоите у дверей кабинета, в котором умер Пушкин, в самый день его смерти.

Но Пушкин, написав свой «Памятник», взял к нему эпиграф из Горация, который сказал: «Лучшая часть меня избежит похорон». Это повторил и Пушкин:

Нет, весь я не умру — душа
в заветной лире
Мой прах переживет и тленья
убежит...

И когда — в Пушкинском доме — вы раскрываете его рукописи, создается высокий эффект присутствия его.

«Пушкин тщательно берег свои рукописи, не только не изданные, но и черновые, в которых были места нецензурные, либо искаженные цензурою, либо первоначальные наброски».

Еще Анненков, впервые увидев тетради Пушкина, заметил, что в своих тетрадях Пушкин потрудился оставить нам почти всю историю своей души, почти все фазисы своего развития и закрепил даже свои мимолетные мысли. Первый редактор поэта добавил еще, что в пушкинских черновых тетрадях сохранилась непрерывная беседа Пушкина с самим собой.

До нас дошли «Разговорные тетради» Бетховена, который был глух, и потому собеседники писали в этих тетрадях то, что хотели сказать ему; Бетховен отвечал им устно, и его ответы в этих тетрадях не записаны. Историки музыки научились читать «Разговорные тетради» Бетховена и по уцелевшей в них половине диалога понимать смысл ответов Бетховена, понимать, что же отвечал своим собеседникам Бетховен.

Исследователи тетрадей Пушкина оказались в более счастливом положении. Тетради Пушкина в самом деле открывают нам его непрестанную, им самим записанную «беседу с самим собой».

Касаясь того периода жизни и творчества поэта, к которому относится работа его над Автобиографическими записками, первый биограф поэта указывал, что «тайная деятельность мысли и творчества у Пушкина носит совершенно другой характер, чем та, которую он открыл публике и которую мы знаем по его сочинениям от эпохи 1821—1824 г. Под лучезарными произведениями его поэтического гения, отданными свету, текла, не прерываясь всю жизнь, другая, потаенная струя творчества общественного, политического, исповеднического и задушевного характера...».

«История души» поэта отражена, конечно, не только в такого рода автобиографических записях. Рабочие тетради поэта представляют чрезвычайный интерес для раскрытия творческой истории его художественных созданий.

Поколения исследователей трудились затем в течение целого столетия над прочтением и расшифровкой черновиков Пушкина, однако большая часть их оставалась недоступной для чтения. «Замечательно, что черновые листы Пушкина, — писал Вяземский, — были также перечеркнуты и перемараны так, что иногда на целой странице выплывало иногда только несколько стихов».

При окончательной отделке, вспоминал современник, которому поэт показывал черновики «Полтавы», «из набросков не оставалось и четвертой части. Я видел у него черновые листы, до того измаранные, что на них нельзя было ничего разобрать: над зачеркнутыми строками было по нескольку рядов зачеркнутых же строк, так что на бумаге не оставалось уже ни одного чистого места». Знакомство с рукописями — и прежде всего черновиками поэта — впоследствии подтвердило это свидетельство о них современников.

Черновые рукописи Пушкина, «до того измаранные, что на них ничего нельзя было разобрать», прочитаны теперь до последней строки.

Вот откуда взялось и неожиданным образом век спустя после смерти поэта появилось в печати столько «нового Пушкина».

Прочитанные теперь черновики лирических стихотворений и поэм Пушкина, которые заняли в академическом издании сотни страниц, представляют собой прежде всего первостепенный материал для воссоздания общей картины огромного творческого труда поэта: в них раскрывается его «вдохновенный», «постоянный труд, без коего, — по словам Пушкина, — нет истинно великого». Но, кроме того, — что особенно ценно — изучение черновиков Пушкина в гораздо большей мере, чем это можно утверждать, говоря о рукописях других наших поэтов, позволяет раскрыть творческую историю целого ряда важнейших его произведений. Возможность эта связана с особым характером пушкинских черновиков, которые недаром называют стенограммами его творческого процесса.



А. С. Пушкин.
Автопортрет 1823 года.

Многие из оставленных Пушкиным в рукописях первоначальных вариантов отражают работу поэта над отдельными строками или строфами. С точки зрения творческой истории каждого из больших пушкинских произведений в целом варианты эти имеют лишь локальное значение. Но неправильно было бы, конечно, сводить труд великого поэта к отделке стихотворных строк или отдельных строф его произведений. Ценя в поэзии «верность выражения» и стремясь к ней в своих стихах, Пушкин, еще при жизни признанный и признававший себя «поэтом действительности», осуждал писателей, заботящихся «более о наружных формах слова, нежели о мысли, истинной жизни его...». Ставшие доступными нам теперь черновые редакции пушкинских произведений отражают поэтому прежде всего смену идейно-художественных решений, возникавших в творческом воображении поэта.

Чертами, отличающими поэзию Пушкина, Гоголь считал «необыкновенное искусство немногими чертами означить весь предмет» и «чрезвычайную быстроту описания». Эти черты отличают и процесс работы Пушкина над созданием своих произведений.

Изучение черновиков поэта дает возможность видеть воочию, как безошибочно избирает Пушкин лучшее из множества возникающих в его творческом воображении решений.

Этот труд совершался под пером Пушкина быстро. Ему чуждо было то изнурительно долгое совершенствование нескольких строк, о котором говорит в своих письмах Флобер, проводивший иногда целый день в работе над одной фразой. Картина работы поэта, отраженная в его черновых тетрадях, приводит нам на память слова его о живописце — создателе Военной галереи Зимнего дворца:

Своею кистию свободной и
широкой
Ее разрисовал художник
быстроокой...

О поэзии Пушкина Гоголь сказал: «...Ничего не вносил он туда необдуманного, опрометчивого из собственной жизни своей... А между тем все там до единого есть история его самого. Но это ни для кого не зримо». Ставшие доступными нам теперь черновики Пушкина говорят не только о том, как менялись под его пером образы создаваемых им героев; нередко они говорят нам о том, как великий поэт боролся за выбор варианта собственной судьбы.

Читать первоначальные черновые редакции и варианты пушкинских произведений, как мы читаем законченные или незавершенные и сохранившиеся хотя бы в отрывках произведения Пушкина, разумеется, невозможно: они требуют прежде всего внимательного изучения. Результаты же исследования их, раскрывающие во многом историю создания великих произведений поэта, могут представить интерес для более широкого круга читателей.

«Как студии (то есть этюды.— *И. Ф.*) великих художников они сделаются предметом изучения для будущих наших писателей»,— проницательно заметил век назад В. А. Соллогуб, касаясь появления в печати черновых пушкинских отрывков.

Пушкин в отличие от поэтов, которые стремятся подчеркнуть сложность и оригинальность своих художественных средств, стремился, наоборот, несколько прикрыть смелость своих эпитетов и метафор. Недаром Гоголь заметил: «Его эпитет так отчетист и смел, что иногда один заменяет целое описание...» Пушкинские черновики обычно в смелости своих художественных решений намного превосходят окончательный текст. В своих черновиках Пушкин предвосхитил почти всех великих последующих поэтов XIX и XX веков, но это осталось в отвергнутых им вариантах.

На связь письма Татьяны в «Евгении Онегине» с монологом Демона в поэме Лермонтова было обращено внимание еще в начале века. Но неожиданнее всего, что рукописные варианты письма

ЕРСКОЙ ПОЭТА

ПО ЧЕРНОВИКАМ ПУШКИНА

Татьяны, ставшие доступными читателю только в наше время, то есть стихи Пушкина, которые Лермонтов не читал и знать не мог, еще больше напоминают стихи самого Лермонтова. Вот эти черновые стихи:

Ко мне, ко мне ты послан богом,
Я знаю, ты хранитель мой.
Вся жизнь моя была залогом
(Свиданья моего с тобой)
Ты мне внушал мои моленья
(Любви) небесной (чистый) жар
И грусть и слезы умиленья
Они тебе, они твой дар.

Переворачиваем еще страницу черновых вариантов «Онегина» и читаем:

Кто ты, мой ангел ли хранитель
Иль демон, сердца искуситель?
Приди, сомненья разреши...

Демон. Слово сказано.

Удивительное сходство стихов Лермонтова с неизвестными ему черновиками Пушкина объясняется тем, что Лермонтов развил в своем «Демоне» многое из того, что Пушкин из «Онегина» устранил, оставив в черновиках своего романа. Как будто написаны Лермонтовым и строки, оставшиеся в рукописи стихотворения «Монастырь на Казбеке».

Казбек! твой царственный шатер
Горит восточными лучами,
Он от всего семейства гор
Один златыми облаками
Как будто стражей окружен.
И монастырь уединен,
Носимый, будто их грядою,
Как малый видится ковчег,
Плывущий тихо над землею.

В рукописи осталось, как слишком личное, и стихотворение Пушкина «Младенцу» («Ребенку»), поразительно напоминающее по интонации лермонтовские стихи:

Прощай дитя моей любви
Я не скажу тебе причины

И клевета неверно ей
Чертами / / опишет...
Быть может о судьбе моей
Она современем услышит...

Среди черновых набросков этого стихотворения можно прочесть еще другие варианты «Моей таинственной любви» и «Ты равнодушно обо мне, дитя, современем услышишь», «И равнодушно обо мне молву современем услышит».

У Пушкина в «Путешествии Онегина» сказано:

В палате Английского клоба
(Народных заседаний проба)
Безмолвно в думу погружен
О кашах пренья слышит он.

Это то, что теперь читаем мы у Некрасова, когда он описывает Английский клуб и обжор-толстяков:

Поросенку ставят баллы,
Рассуждая о вине,
Тычут градусник в бокалы...
«Как! четыре — ветчине?..»

Знаменитое стихотворение Пушкина «Воспоминание» («Когда для смертного умолкнет шумный день») кончалось в печати у Пушкина (он сам так напечатал): «Но строк печальных не смываю». А между тем есть такое же большое, как и основной текст, продолжение его в черновике: «Я вижу в праздности, в неистовых пирах...» Оно было напечатано еще Анненковым. Но он не вводил эту часть в основной текст, а привел в «Материалах для биографии» поэта.

Последующие редакции, желая увеличить творческое наследие Пушкина, стали печатать этот черновик как вторую часть. Она кончается известными стихами.

И нет отрады мне — и тихо
предо мной
Встают два призрака младые,
Две тени милые—два данные
судьбой
Мне ангела во дни былые —
Но оба с крыльями,
и с пламенным мечом—
И стерегут—и мстят мне оба—
И оба говорят мне мертвым
языком
О тайнах счастия и гроба.

В вариантах второй незавершенной части этого произведения сначала было «Два гения» — их сменяют «Два ангела», и образ получает новое развитие и решение. Это две женщины умершие. Новая тема— появляются ангелы мести. Женская любовь сменяется ненавистью:

И мертвую любовь сменила
(...) Неугасающая злоба
И мертвую любовь питает
их огнем
Неумирающая злоба.

И оба грозные и с пламенным
мечом.

Да, мы знали у Ломоносова:

И Ангел мстящею рукою
Их, в след гоня, да устрашит.

Но у Пушкина ангелы — две женщины.

В вариантах мы читаем:

И шепот зависти
И легкой суеты
Укор веселый и кровавый.

Черновые редакции этого стихотворения напоминают нам Блока («Я видел сон...» Но там «живые ангелы» являются мертвому поэту в день воскресения).

Пушкин знал сложности XX века и XVIII, но выбирал простые решения, свойственные XIX веку.

Для понимания исканий Пушкина нам важно знать, что в черновиках он уже предвещал Блока. Но то, что у Блока становится стихотворением, у Пушкина остается в черновике, так как выражает иное отношение поэта к своему «Я» и «Миру». Известно, что когда век спустя была расшифрована X глава «Онегина» и стала доступна читателям, она оказала столь сильное воздействие на Блока, что во многом под влиянием ее он писал поэму «Возмездие».

В поэзии Пушкина уже были те выразительные поэтические средства, которые нам представляются достоянием позднейшей поэзии.

Так, черновики эпилога «Бахчисарайского фонтана» напоминают нам Хлебникова:

Я видел ханское кладбище,
Забвенья мирного жилище.

Сии могильные столбы...
(Сии надгробные столбы)
(Заглохши дикою травою)
(И все заглохшие травою)
(Давно заглохшие травою)
Гласили (мне) завет судьбы
(Заветы тайные судьбы)
Красноречивою молвою.

А описывая Крым («Кто видел край, где роскошью природы...»), Пушкин оставляет в черновике строки, кажущиеся стихами Заболоцкого:

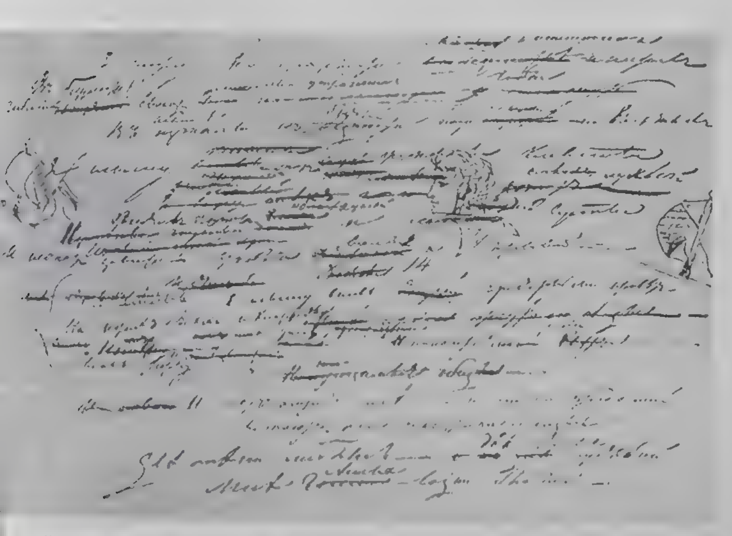
И в темноте, как призрак
безобразный,
Стоит верблюд, вкушая отдых
праздный.

Толстой, говоря о выборе творческого решения, сказал как-то Софье Андреевне: не так трудно что-нибудь написать, как трудно чего-нибудь не написать. Пушкин и греки это умели.

Изучение рабочих тетрадей позволяет видеть и понять смысл творческих решений поэта — видеть, каким Пушкин мог быть, бывал и каким решил стать и стал.

«Следовать за мыслями великого человека есть наука самая занимательная», — сказал Пушкин. Чтение рабочих тетрадей его открывает перед нами эту возможность.

Публикация М. Фейнберг.



Черновой автограф стихотворения «Воспоминание» («Когда для смертного умолкнет шумный день»)

СВИНЦОВЫЙ МОНУМЕНТ

Сергей САРТАКОВ

РОМАН

Рисунки М. ПЕТРОВОЙ

10

Слова Седельникова насчет «или — или» задели Андрея за живое. Напомнили ему о том, что ведь и сам он всегда стремился не иметь никаких «или», а все-таки, выходит, то и дело допускает их, коли другим это со стороны заметно. Итак, программа действий.

С помощью Седельникова он ищет себе работу. Любую. Но непременно связанную с его теперь уже душевной необходимостью — рисовать и рисовать. Работу, оставляющую ему для этого достаточно времени.

Он соглашается на выставку своих военных рисунков. Но только при условии, что каждый из них им будет переписан заново, сколько бы на это ни понадобилось потратить труда. И при условии еще, что только сам он станет определять художественные достоинства своей работы, а не Ирина Седельникова. Андрей не мог ей отказать ни в уме, ни в человеческом обаянии, ни в личной к нему доброжелательности, но весь почему-то внутренне ощетинивался при одной лишь мысли о том, что в самое для него сокровенное, в таинство творческого замысла, вдруг вторгнется женщина и превратится как бы в соучастницу его видения мира, смешает свое дыхание с его дыханием. А это невозможно. Просто невозможно.

Но прежде всего он должен съездить в Чаусинск. Вот как отнесется мать ко всем его соображениям — это ему небезразлично. Он не имеет больше права оставлять ее одну. Потому что она нуждается в нем. И он тоже очень нуждается в ней. Сейчас все это ему в особенности стало понятно.

В Чаусинск Андрей приехал поздним вечером. Он не послал о выезде своем телеграмму, хотелось освободить от лишних приготовлений мать, ну и немножко все-таки сильнее порадовать и неожиданностью встречи. Теперь, приближаясь к дому, он сожалел об этом. Не слишком ли взволнуется мать? Как бы потом эта радость встречи не отразилась на ее здоровье. Припомнились неясные слова из ее писем о том, что плохо спится, а по утрам нехорошо кружится голова.

Окна в домике уже были закрыты ставнями. Их наискось прижимали железные полосы с болтами, протащенными внутрь дома через скважины, пробуравленные в косяках. Андрей тронул щеколду в калитке. Не поднялась. Тоже на запоре, придавлена деревянным клином. В детстве это не бывало помехой. Он и Мирон при надобности легко перемахивали через забор. Ему, пожалуй, и сейчас нетрудно будет это сделать. Но если он постучит сразу в сеничную дверь, мать испугается еще больше.

Андрей подошел к окну. Поднял и опустил руку. Надо немного постоять и насладиться тишиной, прохладой, стелющейся над этой окраинной улицей города, вглядеться в звездочки, слабо мерцающие на темном чистом небе, войти в то настроение, которым раньше здесь жила вся их семья. Какие тогда были хорошие, поздние, перед сном, вечера!

Почему это так: всегда прошедшие годы кажутся самыми лучшими? Почему и в будущее мы уносимся мыслью с надеждами на какое-то необыкновенное счастье? И только настоящее неизменно наполнено сосущими тебя заботами, сожалениями о чем-то сделанном не так, как надо бы сделать, и грустными сравнениями, каким ты стал теперь и каким ты был в свои прежние годы. Ты и сейчас еще молод. И не потому, что где-то там, у сердца, притаилась расщепленная пуля, а все же не побежишь до рассвета с удочкой и червяками, накопанными в огороде, на озеро ловить карасей, не станешь радоваться каждой пойманной рыбке всего-то в пятак величиной. И не станешь вечером при свете керосиновой лампы вырезать из старых журналов цветные картинки и наклеивать их в альбом. А между тем из новой дали годов ты непременно когда-нибудь вспомнишь теплом вот этот поздний вечер под окном и вспомнишь его уже не как тревожный, а как один из лучших в жизни. Сейчас тебя от самого родного человека отделяет только тонкий ставень окна. Войди в дом, и все невзгоды тотчас исчезнут, забудутся. Ну, а через тридцать или сорок лет? Прийти тебе тогда будет уже не к кому. Никто не будет стоять и у твоего окна.

Он постучался. Тихо, осторожно, кончиками пальцев. Так, бывало, стучался отец, где-нибудь по делу припоздав дотемна. Прошла минута, другая. Андрей повторил стук. И тогда в щель ставня прорезался узкий луч света. По стеклу изнутри — ответный, такой же сигнал: да, я слышу. И срывающийся голос:

— Кто там? Господи!

А в голосе и боязнь и надежда.

— Это я, мама.

И словно сильный ветер пронесся по комнате, по сеням, по двору, что-то отталкивая, отбрасывая, опрокидывая. Скрипнул клин в воротах, брякнула железная щеколда, и в калитке появилась мать, маленькая, сухонькая, до колен закутанная в темную шаль.

— Андрюша?

Она больше не могла выговорить ни слова. Припала головой к его плечу и тихо всхлипывала. А калитка так и стояла распахнутой, и кто-то, должно быть, сосед или просто знакомый, проходя мимо, задержался, окликнул сочувственно, спросил, не надо ли помочь — плачет ведь женщина.

— Да что ты, милый, что ты! — отозвалась она.— Не горе, счастье великое у меня. Сын с фронта вернулся.

— У-у, Антоновна, тогда...

И зашагал торопливо, чтобы поскорее рассказать своим домашним о радости, которая привалила Евдокии Антоновне.

Во двор с огорода тянуло запахом свежей зелени, недавно вскопанной земли. В сараюшке на насесте сонно зашевелились куры. Хрюкнул поросенок. Мать оглянулась, умиротворенно прошептала: «Эка, ведь, все поняли»,— и повела Андрея в дом.

Все здесь было, как прежде. В сенях стоял дощатый настил, на котором в теплую пору спали Андрей и Мирон. И прикрыт он был все тем же одеялом. И знакомо поскрипывали под ногами некрашеные половицы. На кухне под бело-голубым рефлектором, похожим на опрокинутое чайное блюдце, горела электрическая лампочка в пятнадцать свечей. Казалось, вот сейчас из двери, ведущей в горницу, выглянет отец, погрозит пальцем, доскать, где это так долго ты загулял, парень. А из сеней крикнет Мирон: «Пап, нет, с Андреем были мы вместе». Брат всегда стоял за брата. А мать знала, что отец никогда не сердился всерьез.

Теперь она усаживала Андрея к столу на отцовском месте. А сама хлопотала возле плиты, гремела самоварной трубой и безудержно говорила, говорила:

— Сыночек ты мой, сыночек, да погляди-ка еще на меня, ну погляди. Переменился очень? Нет, совсем не переменился. Хотя и возмужал. Даже морщинки на лбу — ну их, не надо их! — совсем такие, как у Арсентия прорезались. И чего же ты не отбил мне телеграммку с дороги? Ведь как пришло твое письмо с победой из Берлина этого самого, так и ничего больше. А тут слухи поползли, что наших солдат фашисты и потом еще убивали. С чердаков, затаившись, стреляли. Ну просто изныло у меня сердце.

— Мама, очень я виноват.

— Да не винись, не винись, сыночек, так это я. От радости материнской, долгожданной. Все теперь, все отошло куда-то, и словно крылья у меня сейчас за спиной. А скажу, и такие думы в голову мне забирались: не захочет Андрюша мой возвращаться сюда, сколько свету всякого он повидал, осядет на житье в месте хорошем, и опять останется нам только письма друг дружке писать.

Плита гудела, под сильной тягой звучно пощелкивала чугунная дверца. Что-то шипело, жарилось на сковороде. Мать расставляла посуду, резала хлеб.

— Мама, а я и приехал договориться с тобой, надо жить нам вместе. Обязательно вместе. Это и до войны еще хотелось мне сделать.

У нее как-то неловко вывернулся нож из руки, упал на стол. Спросила испуганно:

— Андрюшенька, так ты с прежней, что ли, мыслью своей — увезти меня отсюда? Куда?

— Мама, не станем сейчас говорить об этом. Будем чай пить, на тебя любоваться. И на меня тоже. Будем хорошее вспоминать. Я тебе про победу расскажу. А про войну — самое тяжелое — когда-нибудь потом. Ты расскажи мне, как ты здесь жила. Все, что хочешь. И постели мне в сенях. Не знаю, скоро ли мы ляжем, заснем, но очень мне хочется в детство, в юность мою вернуться.

Они проговорили ночь напролет, совсем не ощущая течения времени. Только когда в часах-ходиках, висевших в простенке над столом, что-то щелкнуло, желтый маятник задребезжал, повисая бессильно, и усатый рисованный кот сквозь прорези в жестяном циферблате часов перестал поводить направо-налево лукавыми глазами, мать спохватилась:

— Да я же забыла гирьку с вечера подтянуть! Батюшки, уже без двадцати восемь!

Повернула выключатель. И в щелях ставней заиграли яркие полосы солнечного света. Андрей кулаками потер усталые глаза.

— Стоит ли спать ложиться?

Он вышел на крыльцо, весь наполненный ощущениями чего-то забытого, но вновь сей-

Продолжение. См. «Огонек» №№ 34—42.





Н. Касаткин. ТКАЧИХА. 1904.

Государственный музей Революции СССР

час возникшего из глубины памяти. Умыться! Умыться здесь, на огороде, окатив себе голую спину прямо из ведра ледяной колодезной водой. Это они всегда проделывали с Мироном в жаркие летние дни. Хоро-шо-о!

— Мама, помоги мне. Дай полотенце.

Колодец был глубокий. Цепь долго разматывалась, пока ведро ударилось о воду. Андрей с увлечением крутил налощенную ладонями железную ручку барабана. Белые звенышки цепи, натягиваясь, похрустывали. Мать стояла наготове с кусочком душистого мыла в руке и с полотенцем, переброшенным через плечо.

— Тебе не вредно ли будет, Андрюша?— с беспокойством спрашивала она.— Вода такая — зубы ломит. У докторов ты проверял?

— На войне проверял. Там самая надежная проверка.

— Ну и слава богу, Андрюшенька, слава богу!

— Лей, поливай, мама!

Но окатившись ледяной водой до жестких пупырышков на коже, Андрей вдруг почувствовал, что он похвастался чрезмерно. Возникла короткая нехорошая боль в груди, немного погодя стянувшая ему и лопатки. Он давно научился справляться с болью и, рисуя, свободно работал карандашом. А вот надеть рубашку через голову сейчас ему никак не удавалось. Невозможно было даже слегка шевельнуть поднятыми вверх руками, они ему не подчинялись. Мать это заметила.

— Андрюша, что с тобой?

— Да ничего... Прилипла рубашка к мокрому телу.

И все-таки неведомо как он ее натянул. Потом стоял, отвернувшись от матери и делая вид, что с большим интересом разглядывает огородные грядки. Мать поняла: молчит, значит, так надо. И тихо ожидала, переминаясь с ноги на ногу. А в сараюшке между тем отчаянно кудахтали куры, хлопали крыльями, горласто кукарекал петух и пронзительно повизгивал поросенок.

Боль понемногу освободила голос Андрея. Он глубоко вздохнул, кашлянул. Заговорил:

— Мама, а что это за хозяйство у тебя завелось?

— Так, сыночек, а иначе как бы я прожила!— ответила мать облегченно.— Сам знаешь, уменья у меня нет никакого. И силы большой тоже нет. Ну, служила всю войну — все-таки хлеб по карточке — и сейчас служу, при техникуме не на полный день уборщицей. Изворачиваюсь. Побегу там приберусь, домой — в огороде покопаюсь, в курятнике подмету. Поросеночка-то, конечно, совсем зря я взяла. Прокормить его трудно. Да и пойдут холода, держать негде. Уж сколько до осени вырастет, столько и жить ему.

— Очень тяжело тебе, мама. Надо что-то придумать.

— А чего придумать! Если обо мне, так давно все обдумано. Ты, Андрюша, сам прикинь, посчитай. Жив был Арсентий, да вы оба с Мироном тоже на работу пошли — сколько в дом втроем-то вы приносили! И мне тогда на огороде только в радость было трудиться. Чтобы под рукой была всякая картошка-морковка, да свеженькая. А когда осталась одна — и дровишек на зиму запасти нужно, и крышу на домике нанять починить, и обувку, одежу купить — все деньги. А где их взять-то! Про еду и не говорю, без этого и совсем человек не может. Ой, побегу я, хохлаток своих выпущу!

И кинулась к сараюшке, распахнула дверь. Из нее дружной стайкой во главе с величавым золотогривым петухом выбежало десятка полтора пестреньких веселых курочек. Тут же они разбрелись по двору и принялись деятельно разгребать лапками землю, выискивать каких-нибудь букашек. Андрей плотнее прикрыл калитку в заборе, отделяющем огород от двора. Не то ворвется эта орава туда и враз сметет на грядках все любовно ухоженные материнские посадки. А она между тем торопливо готовила в деревянном корытце корм: мелко изрубленную сечкой зеленую траву, смешанную с раздавленной вареной картошкой, оставшейся, должно быть, от вчерашнего дня.

— Цып, цып, цып!— покрикивала мать, подзывая пеструшек.— Цып, цып, цып!— И любовь, ласка светились в ее взгляде.— Андрюша, ты уж на меня не посетуй, завелась я, тебя оставила. А куда ж денешься? Их-то обиходить тоже надобно. Живые. Ты приляг пока, отдохни. После все-таки. А я управлюсь с ними, на работе отпрошусь деньха хоть на два.— Она огорченно потрясла запачканными руками.— Андрюша, ты уж сам в комоде чистую простынь с наволочкой возьми. И ложись. А тебя, чтобы никто не потревожил, пока до техникума сбегаю, я снаружи на замок запру. Может, еще и до Федора Ильича, что на стройке прорабом был, добегу. Дело есть к нему. А ты ложись, ложись.

— Нет, я должен тебе помочь. Расскажи, что надо мне сделать.

Мать счастливо засмеялась.

— А вот это и надо: чтобы лег поспать. Какую мне помощь? Я, как пластинка в граммофоне заведенная, прокручусь до конца — вот и дело сделано. А две иголки все равно не поставишь.

Она очень быстро приготовила какую-то болтушку для поросенка, отнесла ему в сарай. Раз за разом вытащила из колодца три ведра воды, вылила ее в широкую лохань — прогреться на солнышке — и, повязавшись легким ситцевым платком, пошла, действительно как побежала, по другим своим делам. Замкнуть себя снаружи Андрей не позволил.

Оставшись один, он открыл ставни, распахнул створки окна, выходившего на теневую с утра сторону улицы, и принялся разглядывать убранство кухни и горницы. Он припоминал, так ли все было в прежние годы, и убеждался, что ничего не изменилось. Разве лишь сильнее выцвели обои и очень пожелтели семейные фотографии, развешанные над комодом. И еще — там же — небольшое зеркало стало совсем рябым. Но было на стенах и новое. Это его рисунки, присланные с фронта. Не все, а только те — Андрей это заметил,— в которых угадывалось торжество несомненной близкой победы. Наброски, сделанные под тяжелым впечатлением долгих разрушительных боев, лежали отдельно, в той самой канцелярской папке с тесемками, куда Андрей в юности складывал наиболее удавшиеся работы. Выходит, у матери был свой определенный вкус, свое художественное чутье. Хорошее, верное чутье.

Андрей принялся перебирать давние рисунки. Что ж, многие из них были настолько совершенны по технике исполнения, что Андрей даже ощутил как бы некоторую зависть к самому себе тогдашнему. Умел ведь! Ну, а по содержанию... Цветочки, бабочки, стрекозы, воробьи. И малоубедительные попытки изображать людей. Характеров нет, окаменелые маски. Теперь, пожалуй, он значительно дальше шагнул. Особенно в той серии рисунков, где изображена Галина. Да, конечно. И это лишь потому, что он внутренне и глубоко постиг ее судьбу, ее страдания и надежды.

А что можно уловить в человеке с беглого взгляда? Вот письмоносица, вот плотники из той бригады, в которой работал и он с Мироном, вот бухгалтерша расчетного отдела. Так и уставились глазами прямо на художника, а ему хотелось схватить их в движении. Они ли сами застыли неподвижно, или это художник их так перенес на бумагу?

Он просмотрел всю папку до последнего листа. И вдруг припомнил: здесь должен бы храниться и портрет Ольги. Где же он? Все-таки сам по себе этот портрет был одним из самых лучших. Мать все рисунки сберегла в неприкосновенности. А с Ольгой, выходит, безжалостно расправилась. Что ж, так и следовало сделать.

Но тут его взгляд упал на донышко папки. По уголкам к нему был прикреплен лист ватмана, размерами своими в точности совпадавший с размерами папки. И это был тот самый лист ватмана. Мать не решилась без согласия сына уничтожить портрет Ольги, но приколола его изображением вниз.

Андрей помрачнел. Порвать и сжечь? Так в романах Дюма мистически настроенные люди прокалывали иголками «сердце» восковых фигурок своих недругов, стремясь этими колдовскими действиями причинить болезнь или даже смерть живому прообразу восковой куколки. Он тоже, что ли, уподобится им? Ольга останется Ольгой, а ее портрет — произведением искусства. Не сейчас, но когда-нибудь он преодолеет себя и посмотрит на него. Неприятнее, если он здесь на некоторое время задержится, а случай сведет его с Ольгой лицом к лицу.

Солнечное утро, и ласковая тишина первого дня в Чаусинске после долгой отлучки, и в доме все такое родное вдруг предстали перед Андреем притаившимися где-то недобрыми к нему неожиданностями.

— Антоновна!— раздался голос с улицы в распахнутое кухонное окно.

Андрей откликнулся:

— Ее нет. — И вышел из горенки. — Она... Дядя Федор! Федор Ильич! Да она же как раз к вам побежала.

— Андрей! Вот тебе раз — Андрей!— в растерянности проговорил Федор Ильич. — Ну, здравствуй! Вот уж никак не думал. Давно ли?

— Вчера вечером. Заходите.

— Оно, конечно... Только Антоновна, если у нас, будет меня дожидаться лишнюю пору. Дома-то Надежде я не сказал, что сюда пошел. Посчитал, сам успею, перехвачу Антоновну. Чего же ей больные ноги вздумалось бить?

Федор Ильич стоял, опершись раскинутыми руками на подоконник, и раздумчиво оглядывал Андрея. Потряс головой, все еще, видимо, не привыкнув к тому, что встретил не хозяйку дома, а ее сына. И теперь не знал, как продолжить с ним разговор. Побеседовать, конечно, надо бы пообстоятельнее, и опять-таки человек же, Евдокия Антоновна, дожидается. Федор Ильич поскоблил пальцем сухую, морщинистую щеку, еще больше втянулся на подоконник, лег на него узкой грудью.

— А ты, Андрей, здорово переменился. И в лице и статью. Как повоевалось, не буду спрашивать, все от Евдокии Антоновны знаю, коли ты сам от нее в письмах ничего не утаивал. Ты расскажи, какие виды теперь у тебя, поскольку у Евдокии Антоновны это было главной заботой — судьба твоя. И вообще как ты мамашу свою находишь? В смысле здоровья, душевной энергии и новых ее замыслов?

— Да что же, дядя Федор, разрешите по-прежнему вас так называть?— сказал Андрей.— Виды у меня пока самые неопределенные, кроме разве того, что маму отсюда увезти с собой думаю. А выглядит она хорошо, хотя, понятно, и постарела, седины в волосах прибавилось. Насчет ее душевной энергии — радуюсь, дядя Федор, радуюсь! Всю ночь мы с ней проговорили, а она, вышли мы на крылечко, тут же принялась кур, поросенка кормить. И не сказала «пойду», а «побегу». И как раз к вам побежала.

— Это да,— подтвердил Федор Ильич, — это у нее не пустые слова. Знаю Антоновну давно, а за последние годы такая прыть у нее развелась — не удержишь. Оно и понятно. Самостоятельность. Решай за себя все сама. Мужа нету. Сын тоже от нее вдалеке. Но, между прочим, Андрей, не зачерствела Антоновна, как очень просто могло с другой получиться. Мне лишь одно непонятно, если вы целую ночь проговорили и порешили отсюдова уезжать, только вроде совсем еще неизвестно куда, как же могла она от новых своих замыслов отказаться?

— Теперь уже я не понимаю, дядя Федор. Каких «новых замыслов»?

— Вот тебе на! Это называется «ночь проговорили»!

— Правда, не понимаю. А может быть, и говорили, да я не принял мамины замыслы за новые.

Федор Ильич оглянулся на все еще тихую, полусонную улицу. Прикинул взглядом, высоко ли поднялось солнце, опять втянулся в окно.

— Который час, Андрей? Ого! Нету много времени объяснять. И не знаю, может, новыми-то замыслы Антоновны я и зря назвал, может, они и давно тебе известны. Но вся штука в том, что все ведь начисто у Антоновны поломается. Ехали ей уехать отсюда.

— Ничего не понимаю,— убежденно повторил Андрей.

— Значит, действительно еще не говорили.— Федор Ильич повертел головой.— Так вот тебе в двух словах, поскольку в этом деле и я с Надеждой заинтересован. В военные-то годы образовался в Чаусинске нашем, наверно, как и в других городах, женсовет. В смысле помощи семьям фронтовиков. Первая

мысль, конечно, чем и как государство поможет. Пришли женщины и к Антоновне, выяснять ее нужды. Вдова, а единственный сын — фронтовик, доброволец. Но еще раньше у нас с нею втроем, то есть я, она и Надежда моя, общая состоялась беседа. И Антоновна заявила комиссии: от государства ничего для меня не требуется, и без этого государству трудно, а я вот сама могу, хоть малость, другим семьям помочь, с огорода своего половину урожая отдам. И всю войну исправно отдавала. Но это крохи, по правде сказать. Сила тут в честном сердце, сила примера, в том, как это в душах у других отзывается. Такая инициатива. И вот потом одно собрание, другое, и Антоновна вместе с Надеждой и с женсоветом, понятно, на окраинных пустых землях организовали большое коллективное картофельное поле. Общий труд. И все семьи фронтовиков обеспечили и даже какие-то лишки в больницу сдавали.

— Об этом ничего мне мама и не писала и не говорила,— в недоумении сказал Андрей.

— Так ведь это Антоновна же!— с удовлетворением воскликнул Федор Ильич.— Узнаю. Даже сыну родному не осмелилась похвалиться сразу, с ходу. Дескать, самое обычное это дело, после когда-нибудь проясню. А я вот обязан ее похвалить. И немедленно. Потому что инициатива Антоновны и Надежды моей дальше общего картофельного поля простерлась. Затевают нынче крольчатник. А все-таки заметь, уже с опорой на первую идею. Антоновне это лестно. Не в смысле славы, она и в газету не позволила о себе написать, а в смысле собственной душевной полноты: мол, не жадина я, только бы в свой дом тянуть, выполняю человеческий долг, веления совести. Ну, пошел я, Андрей.

— Да вы же рассказали не все, дядя Федор!

— А чего? Ах, насчет тебя? Ну это пусть сама Антоновна расскажет. Ее законное право. Отнимать не могу. Хотя и темнить чего же, не знаю. А главная суть, коли на то уж пошло, вот в чем, и в чем до твоего приезда еще рассуждения наши были: вернешься ты с фронта, привязать тебя к Чаусинску. Иначе говоря, к родному гнезду. И ничем иным тебя не занимать, кроме художественной работы. Рисуй, кистью пиши сколько хочешь, словом, совершенствуйся. А заботы о хлебе насущном для семьи не на тебе лежать должны. Понял? Настолько Антоновна уверовала материнским сердцем своим в твой талант. Допустим, о таланте она и со сведущими людьми советовалась. И пока ты воевал, Антоновна всем богам молилась, чтобы сбылись эти ее мечты, жаждала для тебя всеобщей славы. Не дутой, лишь бы имя твое в газетах да по радио гремело, а от истинных твоих заслуг. Чтобы твое владение кистью в сознание, в память народную вплавилось, как примерно Суриков там или Репин. Вот чего Антоновна хочет. Не отойду в сторону, к этой мысли и я причастен. Когда на все лады мы прикидывали устройство будущей жизни твоей и меня Антоновна спрашивала, в чем я могу посодействовать, я сказал: как прораб, в любой час на любую работу могу поставить, но не поставлю, потому что — есть такая поговорка у строителей — после скобеля топором не тешут.

— Значит, дядя Федор, я буду писать картины, может быть, долгими годами, ничего не зарабатывая, сидя на шее матери, а мама станет картошку выращивать, разводить курочек и откармливать поросят?

— Ну, Андрей,— протянул Федор Ильич,— такое придумать ума большого не надо. Да и не двужильная Антоновна, сколько раз головой обмирала. Мозговые явления. Вопрос совсем в другой плоскости. И тут Надежда моя тоже способности свои проявила. А человек она проницательный, тонкий, с добрым сердцем. Но, опять же заметь, и с обыкновенным пониманием жизни, поскольку жизнь ее и терла и мяла сколько угодно. Есть у нее вполне конкретные соображения и с Антоновной вполне согласованные. Потому, наверно, Антоновна так срочно к Надежде и побежала. Словом, речь идет, чтобы тебе семью достойную образовать.

— То есть?—Андрею показалось, что он ослышался.

— Да не вслепую, конечно,— засмеялся Федор Ильич.— Не восемнадцатый век. Двадцатый. Но ты подумай, не по улицам же тебе шататься, заводить знакомства. Тем более, что, Антоновна мне рассказывала, и брат твой Мирон и ты сам один раз уже сильно обжегся. А без семьи, без жены как же — это никак невозможно. Но такую, однако, жену выбрать нужно, чтобы в таланте твоем понимала, берегла его и развивать помогала. Да при том же еще чтобы и не иждивенкой была. Наоборот...

— ...был бы я у нее иждивенцем!— резко перебил Андрей.— Федор Ильич, да как вы можете...

— Не кипятись,— спокойно поднял руку Федор Ильич,— для дискуссий другое выберем время. Сейчас и некогда и предмета нету. Одни теории. И никто ничего за тебя решать не собирается. Но есть все-таки опыт жизни, и этот самый опыт доказывает,— он постучал себя по впалой груди,— когда отгорело здесь, а со мной такое было, дальше уже на рассудок свой полагайся. На войне, скажем, нужен тыл? Обязательно нужен. При таланте картины писать, и, чтобы не закопать талант этот, нужен «тыл», иначе освобождение тебя от всего другого? Нужно. Об чем же тогда спор! О предмете? Так повстречайся сперва. Пойми, я ведь не сваха. И Надежда моя с Антоновной тоже не свахи. Но все мы твои доброжелатели. И есть у нас некоторые хорошие соображения. Вот так. Прощай пока. Столько с тобой я заговорился, что даже ноги заныли стоять на одном месте. С Антоновной если в дороге опять разойдемся, скажи, был я здесь, но общее наше дело — другое, не это, не думай!— обговаривать вместе с Надеждой нам следует.

Он пошел, как и прежде, в давние времена, придерживая руку на пояснице, высокий, сутулый, с очень сильно затертой от долгой носки кепкой-шестиклинкой на голове.

Андрей проводил его сожалеющим взглядом. Хороший человек, действительно доброжелательный, но как же упрощенно он объясняет жизнь. Впрочем, упрощенно ли? У него своя мудрость. Проверенная личным опытом. Н-да, разговоры с матерью тоже не будут легкими. Мама, мама! И Чаусинск, родной город, в который он так стремился, выходит, вновь не станет для него родным.

Нет, не станет.

II

Эти опасения, навеянные короткой и неожиданной встречей с Федором Ильичом, стали сразу же подтверждаться во все последующие дни.

Без особого нажима, так, словно бы вскользь, мать начинала обиняками высказывать Андрею то, что с достаточной прямотой ему уже передал Федор Ильич. Однако стоило ей уловить хотя бы малейшие признаки недовольства со стороны сына ее соображениями, она тотчас же переводила разговор на другое, стремясь, чтобы ведущую роль уже занял Андрей. И было понятно, что хочется матери завоевать доверие сына, вызвать у него желание прислушаться к ее добрым, ненавязчивым советам — пусть они потом станут вроде бы его собственным мнением. Важно, чтобы он остался здесь. При ней. Или она при нем. Но нигде больше, а только здесь. Без него — значит уже навсегда одинокой, а старость и болезни неумолимы. С ним, но неведомо в каком краю белого света — все равно, что срезать живой цветок и поставить в воду. Долго он не покрасуется, завянет. А тут, в доме родном, ах, какая распрекрасная жизнь может сложиться...

И Андрей радостно соглашался с матерью в том, что больше им разлучаться негоже. И что надо всего себя посвятить только творческому труду, стало прямым требованием души. Ему все отчетливее представлялось большое полотно, над которым он будет работать столько, сколько понадобится, чтобы воскликнуть: «Закончено! Здесь невозможно ничего ни отнять, ни прибавить». Это будущее полотно — грозовые ли раскаты войны или мирный день планеты, пойманное «движение» — по эмоциональной силе своей, в его воображении почему-то ассоциировалось с «Герникой» Пабло Пикассо, только написанной в строгой реалистической манере.

Почему бы не отдаться целиком такой работе вот именно в этом, столь дорогом по прежним воспоминаниям доме, стоящем на тихой зеленой улице?

Но Андрей уже знал, что этого не случится. Мать, всем сердцем отдаваясь заботам о нем, будет упрямо, очень мягко и осторожно настаивать на «третьем» в их семье. Для нее это единственное и правильное решение. Потому что она смотрит в будущее так, как смотрят и все люди. Почти все. Во всяком случае, кому не довелось пережить того, что пережил Мирон, а после пережил и сам он, Андрей. Ему не нужно никакого «третьего». Даже размышляя о будущем. Пусть в этой дали останутся только его картины. Если он сумеет их сделать достойными будущего.

Он помогал матери по дому. И мать принимала его старания, боясь обидеть отказом, но каждый раз стеснительно напоминала:

— Андрюша, а не лучше бы тебе сесть да порисовать? Если к карандашу, к бумаге тянет. А я управлюсь одна. Мне ведь все это очень привычно.— И тут же со значением добавляла: — Эх, хорошо, когда в доме не две руки. И не четыре. А больше.

Приходил иногда по вечерам Федор Ильич. Задерживался недолго. Потолковать с Андреем о том о сем, интересное же всего — как оно там, за границей. Неужели, скажем, в той же Германии после всего, что было, не исчезнет фашистская закваска начисто? И наоборот, не начнет ли она опять колобродить?

В том плане, что при первой встрече с Андреем Федор Ильич не заводил разговоров. Видимо, у себя на совете с Надеждой, а может быть, и с Евдокией Антоновной было признано предоставить все течению времени. К Евдокии Антоновне у него всегда было какое-то свое заделье, поручение от Надежды. Затевалась коллективная покупка дров, заготовленных где-то в верховьях реки, с расчетом пригнать их в Чаусинск самосплавом. Дрова предназначались для семей военнослужащих, погибших на фронте или вернувшихся инвалидами.

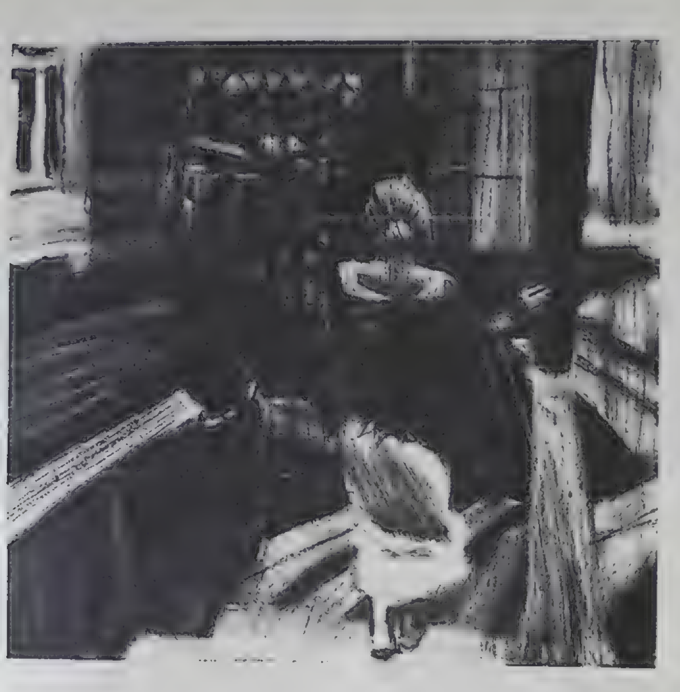
Садились пить чай. С леденцами местного производства взамен сахара. И тогда, случалось, Федор Ильич рассказывал, обращаясь как бы исключительно к Евдокии Антоновне, о превосходном зубном враче, Оксане Филипповне, молодой девушке, присланной в Чаусинск по окончании Иркутского медицинского института, хотя сама-то она по происхождению украинка. Очень легкая рука у нее, можно подумать, добрый десяток лет по специальности уже проработала. И собой хороша, в обращении ласкова, одним добрым словом своим сразу зубную боль утишает. Мать делала вид, что об этой необыкновенной девушке вообще-то слышать слышала, а вот на прием к ней пойти никак не соберется — сильно зубы-то не болят, а одну пломбочку обновить и не мешало бы. Выкрошилась.

Потом, с очень далекого подхода, словно бы совсем ненароком, задавала Федору Ильичу вопросы то о родителях девушки, то о ее интересах помимо своей работы, то о женихах, кто они. Неужели еще никого нет? И Федор Ильич отвечал так, будто у Оксаны Филипповны был он главным доверенным лицом, все о ней знал и обладал правом все это свободно рассказывать. Не Андрею, нет, а только Евдокии Антоновне.

Столь наивная игра раздражала Андрея, но было бы верхом грубости по отношению к матери тем или иным способом ее оборвать. И Андрей выслушивал безмерные похвалы зубному врачу молча, с каменным лицом, а мать молчание сына истолковывала иначе, ей казалось, что капля камень помаленьку долбит и долбит.

Между тем дни шли и шли. Андрею делалось все более неловко видеть, как старается мать создать для него домашний уют и покой. Поднимается с постели ни свет ни заря и поздно ложится. Все время то в огороде, то в очередях у магазинов, то в беготне по городу, бог весть за чем, но, видимо, по острой надобности, то у плиты готовит обед или ужин. Очень скромный, простой, но оттого как раз и требующий большой хозяйственной изворотательности. А он, сильный мужчина, даже и рубля в дом не приносит, оказался целиком на плечах матери.

Он брался за карандаш, перо и лист бумаги. Но рисовать было нечего. И главное, не для чего. Так просто, складывать рисунки в



папку? И этим утверждать себя самого себе самому? Перо вываливалось из его руки. Начинать же большое, еще неясное в подробностях полотно, свою «Гернику» или «Квадратуру круга», здесь, при несовпадении взглядов на жизнь между ним и матерью, было и совсем невозможно.

И все чаще Андрея сверлила мысль о том, что в Светлогорске «дамокловым мечом» висит над ним Ирина и ждет, когда же он приступит к подготовке своих военных рисунков для областной персональной выставки. Это была бы действительно целенаправленная, нужная работа. Художника.

Вспоминался Седельников со своим категорическим отрицанием «или — или». Андрей тоже стремился следовать его правилу. В принципе. А на деле зачастую оказывался все же в плену «или — или». И ведь похоже, что выбор состоялся уже. Но какая цена самому верному выбору, если он почему-то не осуществлен! Не хватало толчка со стороны?

В один из вечеров Андрей заявил матери, что сходит часочка на два, на три в городской сад. Погулять, посмотреть, насколько он изменился. А проще — под шум зеленой листвы ему как-то лучше думалось.

Сад, и прежде не очень благоустроенный, за годы войны и совсем пришел в запустение. Песчаные дорожки заросли травой, а от скамеек, поставленных в дальних аллеях, сохранились только чугунные ножки — дерево жители Чаусинска тайком растащили на топливо. Зато существенно увеличилось птичье царство. Гомон и в вершинах крупных деревьев и особенно в густых зарослях лиственного подроста стоял несусветный. Андрею птичьи голоса не мешали. Он даже пожалел, что столько дней пропустил, не побывал в саду.

Но истинной радости прогулка ему не принесла, на каждом повороте дорожки перед Андреем возникал Мирон, веселый, бесшабашный, любитель и сам позозоровать и втянуть в какую-нибудь балаганную затею и брата. Без хулиганства, без нарушения общественного порядка, а так, чтобы собственная душа пела.

Здесь, в саду, Андреем вдруг завладела необъяснимая тревога, заполнила все его думы. Он должен, должен отыскать могилу Мирона. Чужие люди все же закопали его в землю, поставили столбик с красной звездой, а брат родной даже не знает точно, где находится этот маленький холмик. Бескрайна тайга Ерманчетская. Сейчас волною пробиваются люди на запад, главным образом женщины, держа у сердца «похоронки». Им хочется в благоговейной скорби постоять над прахом сына, мужа, отца, если точно известно место, где дорогой человек погребен, а если неизвестно — попытаться все же найти. Сколько бы на это ни потребовалось и сил и времени. Его, Андрея, путь куда-то к северу и к востоку. Но столь же обязательный. Определенный отныне совестью твердо, без каких-либо «или — или».

Не надо это откладывать. Прежде всего запросить то геодезическое управление, в полевой партии которого работал Мирон. Пусть сообщат хотя бы приближенные ориентиры. Как жаль, что запроса не было сделано сразу! Служба в армии, одна за другой две войны подряд. Но теперь-то ничто не мешает.

Андрей пообещал матери вернуться домой к ужину. Но есть ему не хотелось и еще больше не хотелось расставаться с птичьим гомоном, с горьковатым запахом сосновой смолки и отцветающей черемухи. И потому он испетлял по нескольку раз все дорожки сада, включая и самые окраинные, едва заметные тропинки, ловя себя на том, что подсознательно все как бы ищет на них свои собственные следы.

Остановился на несколько минут у поляны, заросшей мягкой голубоватой полынью. По краям этой поляны были вкопаны две высокие крестовины из прочных брусьев, стянутых железными скобами. Они сохранились от давних мальчишеских времен. Тогда между крестовинами был туго натянут проволочный канат, а знаменитый балансер Черноберевский весело разгуливал по нему, держа в руках длинный полированный шест. С этого только начиналась его сложная программа. А потом Черноберевский бегал по канату с завязанными глазами, игриво помахивая цветным зонтиком. Принимал с лестницы от помощника кипящий самовар и проносил его от одной крестовины к другой. Там, закрепив фыркающий горячим паром самовар на каком-то хитроумном приспособлении, он возвращался на средину каната, садился на него, свесив ноги, разжигал рядом с собою примус, теперь поданный ему помощником на специально оборудованной длинной палке, жарил яичницу, с аппетитом закусывал, сбрасывал вниз помощнику примус и сковородку, а сам уходил пить чай из самовара. Завершалась программа танцами на канате, который для этого опускался ниже и провисал свободнее.

Гремел духовой оркестр, и Черноберевский под гром аплодисментов публики, измученной долгим нервным напряжением по ходу исполнения его «смертельных номеров», принимался непринужденно отплясывать польки, лезгинки, гавоты и, наконец, как апофеоз всего представления, украинский гопак, вприсядку. Крестовины скрипели, тонкий канат звенел, метался в воздухе из стороны в сторону, но Черноберевский с непостижимой точностью ударялся в него то пятками, то коленями, подогнув ноги, то на руках переворачивался колесом. Аплодисменты своим неистовством заглушали оркестр.

«Мирон,— сказал однажды брату Андрей,— а все равно он до конца гастролей оборвется».

«Нет,— категорически ответил Мирон,— канат не может лопнуть, стальная сила, а сам Черноберевский не промахнется. У него шестое чувство».

«Какое?»

«Шестое».

«А-а! Ну все равно. Спорим?»

«Спорим».

Они поспорили. Тот, кто проиграет, другого проведет зайцем в летнее кино. Денежный расчет здесь не играл никакой роли — братья, продемонстрировать нужно было свое мастерство. Почти что равное мастерству канатоходца, потому что на контроле в кино стояла мелкоячеистой сетью тетя Зина, сквозь которую не мог проскользнуть ни один малец.

Выиграл Андрей. Черноберевский промахнулся, и его, стонущего, на руках унесли с поляны. Только тогда братья осознали, сколь чудовищно кощунственным был их спор. Они об этом споре больше и не вспоминали и радостно закричали «ура», когда узнали, что Черноберевский не расшибся насмерть, а только вывихнул ногу.

Андрей обвел поляну взглядом. Тишина. И только порхают над нею вечерние мотыльки. А тогда...

И вдруг ему захотелось пойти в кино, дощатый сарай, посидеть, если удастся, на тех же любимых местах, где сиживали они всегда с Мироном, а для этого загодя, самыми первыми покупали билеты. Он помнил: двенадцатый ряд, одиннадцатое и двенадцатое места. С тринадцатого ряда билеты были на пятак дороже.

До начала второго сеанса оставалось около получаса, но «Мироново место» — одиннадцатое—к удивлению Андрея, оказалось непроданным. Кассирша была незнакома, а на контроле в дверях — Андрей сразу узнал — стояла постаревшая тетя Зина. Он издали ей кивнул головой, тетя Зина пожала плечами.

Сквозь тесовую обшивку доносилась музыка, громкий голос на незнакомом языке, стрельба. Андрей вчитался в рукописную афишу: трофейный фильм «Охотники за каучуком». Любопытно. Как это за каучуком охотятся?

— Картина — во! — услышал он мальчишеский голос.

Что ж, тем лучше. Мальчишки знают толк в приключенческих фильмах. И можно еще успеть сделать большой круг по дорожкам сада.

Продолжение следует.

НОВАЯ ЭРА ДРЕВНЕЙ СТРАНЫ

Начало см. на стр. 7.

кивали, но не показывали какого-то уж очень пылкого восторга. Это национальная черта характера — неторопливость, достоинство, немногословие. И как же горячо они приняли рассказ, когда стали приводиться конкретные примеры и цифры о том, что в Советской стране многомиллионными тиражами издается больше ста литературно-художественных журналов и альманахов, что пишется наша литература на многих десятках языков, что независимо от своей численности каждый народ вносит вклад в общее дело процветания советской литературы. Ну, а рассказ о наших будничных условиях работы писателей в домах творчества показался им еще одной из сказок Шехерезады!

Куда девалась неторопливая степенность и внешняя невозмутимость, афганские провинциальные писатели показали, что им далеко не безразлична судьба их литературы и что они готовы потрудиться и побороться за нее.

Первым выступил Абдулвахид Ришта из Бадахшана, он, как наши Джамбул и Сулейман Стальский, народный поэт, слагает стихи устно, сам пояснил: всего шесть дней ходил в школу. Ришта, в высокой, красиво «сконструированной» чалме, чернобородый, с черными глазами, в которых так и горит пылкая душа поэта, прочитал страстные патриотические стихи.

Следующим говорил Лютф Хамуш, писатель из провинции Баглан, он молодой, в отличие от других соотечественников белолицый, с пышными черными усами.

— Прежде всего добро пожаловать в нашу страну, дорогие друзья. Нам очень приятно, что именно в трудные дни революции вы с нами рядом. Наша пословица об этом так и гласит: настоящий друг тот, кто рядом с тобой в трудные дни. Наша партия в программе своей наметила развитие литературы и искусства и на практике осуществляет это. Мы многому учимся у вас и благодарны вам за помощь и моральную и материальную.

Поэт Мухаммедхашим Гамшерик из Джелалабада начал свое выступление мудрым двустишием:

Короли дарят драгоценные камни,
Поэты дарят в стихах кровь сердца своего.

Поэтому я скажу от себя и от людей моей провинции, от ее поселков и гор, от каждого листочка садов нашей земли — сердечный вам привет! Наша любовь, наше уважение к вам за вашу щедрость и мужество безграничны. Мы много читали и слышали о вас. Наша революция и особенно ее второй этап раскрывают еще более широкие просторы для нашей дружбы. Яркое солнце этой дружбы теперь будет светить всем провинциям нашей страны!

Узбек из провинции Фариаб, одетый в национальный стеганый халат, с серой каракулевой шапочкой на голове — зовут его Мухаммедрафик Анбар,— говорит:

— Как это ни горько, но между народностями и племенами Афганистана до революции была не только рознь, но и вражда. Не секрет, что ее разжигали империалисты, они знали: если мы объединимся, их господству конец. Я пишу уже 39 лет, и за эти годы ни разу не было, чтобы афганские писатели сели за один общий стол. Я узбек, и теперь вот рядом со мной сидят туркмен и таджик, а недавно нам нельзя было даже говорить на своих языках! Революция снесла всю грязь, которая мешала нам объединиться. И вот мы сидим все, как братья, и говорим и заботимся об одном. Этому мы научились у советских писателей, ваш опыт освещает и наш путь!

Исак Дельгир из Мазари-Шарифа, смущаясь своей молодости, просил извинения у более старших писателей:

— Я по сравнению с вами еще мальчик, который только изучает азбуку, и не имею права говорить в вашем присутствии, но я говорю не от себя, от провинции Балх, передавая от земляков горячее добро пожаловать. Я им передам ваш интересный рассказ и ценный опыт развития культуры.

После встречи мы фотографировались на память, наши новые друзья стояли рядом, просветленные и улыбающиеся... А ведь эти фотографии и слова, которые они высказали на встрече, равносильны смертному приговору, если на пути в свои провинции и даже дома писатели попадут в руки душманов! Но интересы Родины, родной литературы выше личной безопасности. Провинциальные писатели идут сознательно на такой риск, они готовы и словом и делом постоять за расцвет афганской культуры.

То же самое можно сказать и о делегатах первого учредительного съезда писателей, который состоялся 4 октября 1980 года. Каждый выступавший и многие сидевшие в зале были слышны и видны на всю страну благодаря афганскому телевидению. Все выступавшие говорили и в зал и в телекамеры бесстрашно, и этим всему народу вселяли уверенность в победе над черными силами контрреволюции.

Доклад на съезде сделал член ЦК НДПА, верный и добрый друг советских людей Хабиб Мангаль. Но прежде чем рассказать о съезде, хочется остановиться на фактах, очень существенных для понимания современной обстановки в стране. Перед открытием съезда на трибуну к микрофонам вышел благообразный мулла в высокой чалме и громким напевным голосом прочитал молитву из Корана. Присутствующие, каждый в зависимости от его отношения к вере, участвовали в этом ритуале. Эта молитва была не только данью уважения афганскому народу, который в большинстве своем еще является религиозным, но, что не менее важно, мусульманские духовники благословляли плодотворную работу съезда писателей!

После молитвы зазвучал гимн Демократической Республики Афганистан, и все в едином порыве встали и слушали этот гимн. Затем по предложению председательствующего, доктора филологии Асадуллы Хабиба, который позднее был избран на первом пленуме председателем Союза писателей Афганистана, съезд почтил минутой молчания писателей, отдавших жизни в борьбе за победу революции.

В зале было более 500 делегатов, конечно же, они были представителями не только различных литературных взглядов, но и не во всем сходных политических убеждений и симпатий. Были здесь, наверное, и такие, кто недавно выступал друг против друга в оппозиционных группировках, революционная борьба обнажает, обостряет классовые противоречия и интересы, борьба толкает на острые, порой крайние меры. И вот в связи с этим хочется отметить мудрую и правильную политику НДПА, которая прилагает много усилий к объединению всех прогрессивных сил, к прекращению отклонений от единой линии партии.

Эту политику понимают и поддерживают все прогрессивные слои республики. Съезд писателей Афганистана был одним из ярких тому свидетельств. В зале среди сотен писателей, конечно же, были и такие, кто мог бы выступить, развязать дискуссию, бросить тень или породить какое-нибудь сомнение. Но этого не произошло, все выступления были доброжелательные, пронизанные желанием создать Союз писателей и благодарностью к НДПА за заботу о судьбах развития афганской литературы и культуры в целом. Учредительный съезд единогласно принял устав Союза писателей, избрал руководящие органы Союза, а также послал приветствие от съезда Центральному Комитету НДПА.

Бабрак Кармаль принял нашу делегацию в своем рабочем кабинете. Среднего роста, одет в светлый европейский костюм, черные волосы с проседью, темные глаза освещены огнем большой внутренней энергии. Бабрак Кармаль — типичный сын афганского народа не только по внешности, но и по характеру — нетороплив, приветлив, жесты мягкие, нет резких движений, говорит негромко, фразы емкие, продуманные.

Поздоровался с каждым из нас, пригласил к столу на чашку чая. Кабинет небольшой, нет ничего лишнего — письменный стол, книжный шкаф, в углу камин и три кресла возле него, большое зашторенное окно, застекленная дверь на балкон.

— Я все время держал в поле зрения вашу делегацию, мне известно, где вы побывали. Большую работу вы сделали, очень благодарен вам за это,— говорит Бабрак Кармаль, следя, чтобы мы удобно сели, угощая сигаретами, пододвигая пепельницу.

— Для нас большая честь участвовать в учредительном съезде, в создании Союза писателей Афганистана. Сегодня мы подписали соглашение о сотрудничестве между нашими Союзами, предусматривающее взаимную помощь в работе, обмен делегациями писателей и многое другое,— сказал глава советской делегации.

Бабрак Кармаль искренне поблагодарил:

— Еще и еще раз спасибо вам, дорогие друзья. Бескорыстная, дружеская помощь Советского Союза во всех областях просто неоценима. Я даже подумал о том, что такие емкие слова, как дружба, братство, все же не полностью отражают отношения афганского и советского народов, они еще глубже, шире и теплее. Вы, писатели, поищите новые, более емкие и выразительные слова, чтобы в них отразились суть и смысл наших братских отношений.

Беседа продолжалась около двух часов. Бабрак Кармаль очень эрудированный и начитанный, хорошо знает русскую и советскую литературу. Он рассказал о революционных преобразованиях, которые происходят в стране, о значении культуры, которая особенно на втором этапе революции приобретает огромное значение в дальнейшем развитии страны. Особенно заботливо говорил Бабрак Кармаль о роли интеллигенции.

— Я понимаю,— говорил он,— даже зная ваш опыт, на современном этапе нашей революции нельзя просто обойти или перепрыгнуть через возникающие трудности. Потому что трудности эти порождены конкретными особенностями нашей жизни и борьбы. Но вместе с тем ваш опыт позволяет предвидеть, предполагать и находить выход из наших острых и трудных ситуаций. Вот хотя бы та бережливость, с которой Ленин относился к старой интеллигенции, как он сам и через Луначарского проявлял заботу об ученых, писателях, привлекал их на сторону революции. В наших условиях мы тоже так поступаем. Грандиозность преобразований, величественные перспективы расцвета и процветания культуры Афганистана не могут не привлечь на нашу сторону по-настоящему талантливых людей, судьба народа и родины для таких людей всегда была превыше всего...

Далее Бабрак Кармаль говорил о новых силах, которые неизбежно придут и в литературу и во все виды искусства, об огромной роли переводной литературы, о ее качестве, о необходимости дать молодому поколению образцы трудового и боевого героизма, что и в этом деле афганская молодежь учится на примерах советских героев.

На прощание мы сфотографировались. Бабрак Кармаль остроумно шутил при этом. Нам показалось, что он немного развеялся во время беседы с нами, его порадовало то, о чем мы поговорили,— уже достигнутые успехи в развитии культуры и особенно ее предстоящий расцвет. Но вот закрылась дверь и остался за ней человек, на плечи которого партия и революция возложили огромный труд и заботы, ответственность за судьбы страны и народа.

...Улетая из Кабула, мы смотрели на огромную долину, окруженную горами, на улицы, дома, сады древнего города и от всей души желали тем, кто живет там и стали нашими добрыми друзьями, счастливого осуществления всех замыслов и надежд, к которым ведет Афганистан Народно-демократическая партия.

Кабул, октябрь 1980 г.

ЦЕНА СЧАСТЬЯ



В № 30 «Огонька» была опубликована статья Б. Протопопова «Брильянтовые сережки». Редакция получила много откликов на эту публикацию. Большинство читателей осуждают Таню, возмущаются позицией ее родителей, требуют раскрыть инкогнито и публично наказать все это семейство эгоистов, без души и сердца.

И лишь одна женщина написала нам, что не согласна с мнением автора очерка «Брильянтовые сережки». «Подобные статьи я читала не раз, и все авторы как один осуждают молодых матерей, бросающих своих детей. Осудить — это проще всего, а вот понять, помочь сложнее. Сейчас я сама на грани того, чтобы совершить подобное»,— так начала свой рассказ Галина Д. Но, как выяснилось дальше, ситуация у нее много трагичнее Таниной. Муж бросил ее в тот момент, когда они приехали на новое место жительства, не имея еще ни работы, ни квартиры. Положение осложнялось тем, что Галина готовилась стать матерью.

В таком критическом положении Галина и написала нам.

Пока готовился этот материал, в редакцию пришел ответ секретаря Лужского ГК КПСС Н. Семендяевой. В нем говорится, что муж Галины вернулся к ней. Сейчас эта семья направлена в совхоз «Партизан» Лужского района, где им предоставляется жилплощадь, а мужу Галины работа. Будем надеяться, что и у Гали теперь потеплеет на душе и она с радостью будет ожидать рождения ребенка.

Большинство же наших читателей одобряют позицию автора, рассказывают о своей судьбе и судьбах своих знакомых. Вот выдержки из некоторых писем.

«Так же, как и Таня, я родила ребенка, не имея мужа. В какой-то момент тоже хотела оставить его в роддоме. А когда увидела девочку, так плакала: неужели я могла подумать о том, чтобы бросить ее! Наверное, Тане все легко дается в жизни, раз она так бессердечно отнеслась к ребенку. Сейчас моей Оксане уже 3 года. Мои родители и сестренка очень ее любят. Конечно, был конфликт с родными, но все уладилось. Отец ребенка не приходит, да он и не нужен нам. Я встретила хорошего парня, с дочерью они ладят. Нет, я не понимаю Таню. Неужели ее не грызет совесть? Знала бы она, какое это счастье — иметь ребенка, даже если у него нет отца. А хороший парень не посмотрит ни на что, если полюбит по-настоящему. Мне 25 лет. Я очень счастлива.

Света К.».

Ташкент.

«Поведение Тани прежде всего заслуживает того, чтобы ее убрали из института. Почему? Да потому, что она будет в стенах института служить плохим примером. Да и по окончании — что может дать полезного обществу человек, отказавшийся от своего ребенка? Не лучше повели себя и родные Тани. Эта сорокалетняя «бабушка» совершенно не знает истории Великой Отечественной войны, когда советские люди брали по 10—12 ребят-сироток и воспитывали их, а эта особа от собственного внука отказалась. Удивляет и позиция отца. Его, видите ли, пугает, что его доченьку не возьмут замуж с ребенком. Вероятно, это человек невысокой морали и в жизни, судя по его понятиям, ничего не видел, кроме своего Я.

А. Рябченко,
Е. Горлова».

Донецк.

«Я мать и бабушка трех внуков, дороже которых, по-моему, нет ничего на свете. Но не в этом дело. И не в мальчике, брошенном этими тремя «аристократами». Еще не известно, как устроится его судьба, будут ли это издержки в воспитании, и пополнит ли он колонии для несовершеннолетних преступников, или выйдет победителем из своего украденного детства, лишенного родительских забот и ласки. Не о нем, а об этих троих я хочу сказать свое слово.

Вы говорите, что неудобно называть их фамилии, а надо бы. На мой взгляд, не место этим пресыщенным потребленцам в советском обществе. У них нет ничего святого, коль они бросают живое дитя, свою кровь. Ради чего? Ради своего благополучия. Не такие ли вот млекопитающие предавали Родину в трудную минуту? У меня даже нет подходящих слов, чтобы выразить свою мысль. Не уговаривать таких надо, а наказывать...

Е. Харитонова,
участница Великой
Отечественной войны».

п. Вешкайма,
Ульяновской обл.

«Хочу высказаться по поводу статьи «Брильянтовые сережки». Я всегда возмущалась таким поведением, а сегодня молчать не могу. Ужасно, что никто не может остановить эту жестокость, бессердечность. Потому что закон разрешает оставлять ребенка, да и еще сохраняет тайну. Для этой Тани трагедия продлилась всего лишь неделю, пока соседки по палате осуждали ее. По выходе из роддома она и ее родители все забудут. Как правило, такие люди остаются безнаказанными. Я хочу рассказать еще об одном случае.

Эта молодая особа из хорошей семьи. Отец — участник войны. Сама она работает на заводе. В цехе о ней ничего плохого не знают. А вот дома она другая. Муж пьет, и она с ним. Родила ребенка. Кое-как вырастила до 5 лет. Сколько раз уходила из дома, куда — неизвестно. Уйдет, погуляет и опять возвращается. А ребенок все это время с пьяным отцом, голодный, холодный, предоставлен сам себе. Хорошо еще, что больная свекровь могла иногда присмотреть за ребенком. И вот родился второй ребенок. Бросила двухмесячного на произвол судьбы с пьяным отцом! Свекровь сломала руку и сама нуждается в уходе. А она гуляет. Обворовала девочек в городском общежитии, потом своих стариков родителей. Девочки заявили в милицию о краже, но там не обратили особого внимания. Девочки ездили к ее родителям, ходили к ней домой, не могли ее найти. Посмотрев на квартиру, детей и ее пьяного мужа, вторично заявили в милицию. На этот раз в милиции охали и ахали, как же так могло случиться, что до сих пор ничего не сделано. Обещали тотчас же разобраться. Приходил даже молоденький милиционер, расспросил поподробнее. И все, больше никаких сдвигов. Да, как же, была принята мера: объявили выговор коменданту общежития, в котором живут эти девочки. А эта семейка пьяниц продолжает калечить жизнь своим детям. И никому до этого нет дела. Вот и стоит задуматься, скрывать или не скрывать таких людей. А мы уже боимся заступаться за детей...

Н. Иванова».

Саратов.

«Прочла в журнале «Огонек» статью Б. Протопопова «Брильянтовые сережки», и вспомнился мне такой случай.

Семья Николая Н. была большая, шесть дочек, жена, мать-старушка. По тем временам в селах телевизоры были не у каждого. В этой семье телевизор появился у самых первых. Как же им завидовали сельчане. Николай — передовой кукурузовод, заработки отличные, жена тоже работала на разных работах. Семья ни в чем не нуждалась.

И вот жена Николая забеременела. Ждали сына, так как девочек было достаточно. Увез Николай жену в родильный дом, а когда вернулся, объявил соседям, что ребенок родился мертвым. Первый день в селе осуждали местного фельдшера, что она не сопроводила роженицу в роддом. Мать Николая отправилась в роддом проведать сноху, а когда вернулась домой, не смогла сдержать горечи в душе, рассказала сельчанам...

Николай сказал жене, что раз она родила еще девочку, то они ему обе не нужны, и пусть она выбирает или девочку, или дом. И Нина выбрала дом. Она дала расписку — отказ от девочки. Это мать шестерых детей! Девочку взяли простые люди, сторож и техничка, живущие в городе Кустанае, они полюбили ее, вырастили.

И надо же такому случиться: в тот же год в семье Н. грозой разбило телевизор! Выезжая со двора на тракторе, Николай нечаянно сбил младшую дочку и повредил ей ручку, она осталась калекой на всю жизнь. Старые люди говорили, что бог наказал.

Позже в этой семье появился еще ребенок, и опять девочка, ее, эту кроху, они никому не отдадут. Но по сегодняшний день мать по ночам видит ту, которую отдала людям.

Этому событию перевалило за 10 лет, но пройдут еще и еще годы, а память матери никогда не загладит рану, нанесенную самой себе.

Фотографию Николая можно видеть на досках почета в районе, он знатный комбайнер, хотя все, конечно, знают, что он недостоин этого почета. Он, оторвавший дитя от матери, достоин ли он всеобщего уважения и почета?

Как нужно поступать в таких случаях? Кого винить? Мать... отца... А не лучше ли их обоих? А можно ли прощать вообще подобные случаи?

Г. Бородина».

Затобольск,
Кустанайской обл.



КУСКОВО

Когда я приехал в музей-усадьбу Кусково, моросил мелкий осенний дождь, небо затянуло свинцовой пленкой облаков, а порывистый ветер гонял по асфальту опавшие листья. Главный дворец усадьбы стоял хмурый и немного одинокий. Но и в этот день он не потерял своего изящества и воздушности.

Сегодня мне предстояла встреча с главным архитектором государственного музея керамики и «Усадьбы Кусково XVIII века» Петром Тимофеевичем Ефремкиным, человеком, который четыре года отдал реставрации этого замечательного памятника архитектуры. Он-то и рассказал о том, какие проблемы стоят перед реставраторами музея, что уже сделано, что еще предстоит увидеть посетителям.

Но сначала немного об истории самой усадьбы. С начала XVII века до 1917 года Кусково было владением богатейших русских помещиков Шереметевых. После революции усадьба была национализирована. До наших дней уцелели дворец, церковь с колокольней, кухонный флигель, несколько прудов, каналов и парк. Неплохо сохранились Голландский и Итальянский домики, павильоны Эрмитаж и Грот, большая каменная Оранжерея. Ансамбль усадьбы создавался русскими крепостными архитекторами — Ф. Аргуновым, А. Мироновым, Г. Дикушиным. Стены дворцовых залов украшают картины крепостных живописцев. Резьба, позолота тоже дело рук крепостных умельцев.

То, что усадьба Кусково сохранилась лучше, чем другие, ей подобные, не дает повода к разговору о более легкой и скоротечной работе реставраторов. Более того, именно в этом и заключается сложность. Так, например, в Кускове не делают новой позолоты. Здесь восстанавливают старую. Поэтому она не сверкает, как, скажем, во многих ленинградских дворцах, а имеет матовый оттенок, что придает особое очарование всему интерьеру дворца. Специфика реставрационных работ в Кускове заключается именно в том, что здесь почти не создают «новоделов», выражаясь языком реставраторов. То есть в усадьбе нет таких предметов, зданий или картин, которые исчезли совсем и которые нужно воссоздавать заново по фотографиям, открыткам или старым чертежам. В руках у реставраторов Кускова предметы, картины двухсотлетней давности, которые нужно привести в первозданный вид.

Сейчас уже почти отреставрирована южная анфилада главного дворца. Скоро войдет в строй большая каменная Оранжерея, в которой разместится музей керамики. Впоследствии намечено восстановить Бельведер, Менажерей (домики водоплавающих птиц), Американскую оранжерею, Гостиничный флигель, пристань с причалом. По обводному каналу будет плавать яхта. Окончательно реставрация музея-усадьбы Кусково намечается к 1980 году.

С. ПОРТЕР



ПЕСНИ, КАК ТЕПЛЫЕ ЗВЕЗДЫ

Очередная встреча нашего творческого клуба была посвящена традициям и судьбам современной эстрадной песни. Перед огоньковцами выступил автор и исполнитель популярных песен Александр Дольский.

Этот молодой человек, выйдя на эстраду, не поет расхожих шлягеров, не приплясывает во время исполнения, не прибегает к помощи разбитных молодцов, ошеломляющих зрителей набатными аккордами электрогитар.

Он садится на стул, берет обычную гитару-шестиструнку и начинает разговор — негромко, доверительно, так, словно он не артист, а человек, пришедший к нам в гости. И о чем бы он ни говорил — о любви и ненависти, о доброте и радости жизни,— чувствуется, что все это выстрадано, выношено и потому-то берет за живое.

Поэзия его (а именно она лежит в основе песен Дольского) проста и в то же время по-настоящему романтична, умна, интеллигентна, а музыка чаще всего глубоко лирична, органически слита авторским отношением воедино со словом.

В его мелодиях светлая грусть, они замешаны на исконно русской задушевности, даже мажорные вещи лишены какой-либо разухабистости.

Так называемая «гитарная» песня родилась как своеобразный протест против вторжения на эстраду бездумных попевок с малоосмысленным текстом, бодреньких танцевальных ритмов. И молодые авторы, чаще всего самодеятельные — ученые, инженеры, рабочие,— в стремлении выразить мысли и чувства своих современников обратились к темам гражданственным, героико-романтическим, философским. Не будучи, как правило, хорошо музыкально подготовлены, с помощью гитары они лишь «иллюстрировали» свои поэтические тексты.

Входя уже с конца шестидесятых годов в десятку ведущих бардов страны, среди которых были такие популярные имена, как Ада Якушева, Сергей Никитин, Александр Дулов, Борис Вахнюк, Юрий Визбор, Александр Дольский до поры до времени как бы «отсиживался за их спиной».

Сегодня к признанию зрителей присоединилось и «официальное» признание А. Дольского, его песни исполняются в кинофильмах и по телевидению, он стал победителем 6-го Всесоюзного конкурса артистов эстрады, фирма «Мелодия» выпустила его персональную пластинку-«гигант».

Раскрывая секрет успеха А. Дольского, я уже упоминал о необычайной слитности его поэтического и музыкального дарования. С этим неотъемлемо связана и подкупающая манера исполнения, мягкий, выразительный голос. Все это дополняется — а может, является и определяющим — мастерским владением гитарой.

Небезынтересно, что еще в пятидесятые годы Александр стал лауреатом первого послевоенного конкурса артистов эстрады, но... как гитарист, исполнитель классической музыки. Это не случайно, так как за плечами у него занятия на вечернем отделении Свердловского музыкального училища имени Чайковского, которые он совмещал с учебой в Уральском политехническом институте.

Затем было участие во всесоюзных конкурсах самодеятельной песни. Была победа на фестивале памяти Валерия Грушина (студента, погибшего, спасая детей в горной речке на Саянах)—самом авторитетном и представительном среди состязаний «гитарных» певцов.

До осени прошлого года Александр, старший научный сотрудник НИИ градостроительства в Ленинграде, занимался серьезными исследованиями в области экономики строительства, а композитор, поэт и певец Дольский каждый свободный час отдавал сочинительству и при первой возможности вылетал, выезжал во все концы страны на встречи со своими слушателями.



Аркадий Райкин (кстати, тепло представляющий молодого лауреата на конверте пластинки-«гигант»), приверженец творчества Александра, однажды сказал:

— Саша! Настала для тебя пора определиться. Есть для этого прекрасная возможность — начинается Всесоюзный конкурс артистов эстрады. Я в тебя верю... А защита диссертации от тебя не уйдет.

К счастью — надо так полагать, — диссертации придется, видимо, пылиться на полке. Зато Дольский успешно защитил право называться артистом — авторитетное жюри назвало его победителем конкурса.

Вот уж год, как Александр выступает на профессиональной сцене. Сперва как актер Ленинградского театра миниатюр, ныне как солист эстрады. Самое отрадное, что концертные штампы не опреснили его исполнительской манеры, не заставили потускнеть его индивидуальность. Он по-прежнему умеет создать на эстраде впечатление импровизационности, сиюминутности, по-прежнему свежи краски, которыми он пользуется как автор и исполнитель.

А любимые тона Дольского — преимущественно акварельные, точнее, даже пастельные — определяют его творческое лицо, его неповторимость. Проникновенностью, тончайшим ароматом русской народной песни пленяет его «Аленушка». Обнаженным нервом художника воспринимает он творческие муки музыканта и с помощью нежных, кружевных мелодических поэтических образов передает нам в «Пианисте» его состояние. Трепетно, скорбно, взволнованно звучат строки из его песни, посвященной В. М. Шукшину: «И теплые, теплые звезды летят по холодным мирам, и поздно, так жалко, что поздно, они открываются нам».

К этому же направлению в его творчестве принадлежит программное произведение «Исполнение желаний», проникнутое подлинным гуманизмом, любовью и состраданием к людям: «Я хочу... чтоб дружба не была обузой, чтобы верность в тягость не была, чтобы старость не тяжелым грузом — мудростью бы на сердце легла. Чтобы у костра, пропахнув дымом, эту песню тихо напевать, а еще хочу я быть любимым и хочу, чтоб не болела мать».

Дольский отнюдь не замыкается в рамках чистой лирики. Лукавым народным юмором пронизаны его песни, стилизованные под английские баллады («Поездка на ярмарку», «Женская логика» и другие). Богатая палитра емких изобразительных средств — точная расстановка музыкальных акцентов, тонкая нюансировка голосом, выразительность мимики и жеста — позволяет ему доходчиво передавать шуточный характер песен, комизм ситуаций.

К этому циклу примыкают музыкальные новеллы, рассказывающие об известных зарубежных джазовых композиторах и исполнителях. За их грустным юмором — солнце негритянского юга, радость восприятия жизни и затаенная тоска людей по лучшей доле.

— Но я всегда останусь верен традициям русской песни,— говорил на встрече в редакции Александр Дольский. — Ее нешумному патриотизму, скромной интимности, сердечности, светлой лиричности, ее мудрости.

Вик. МАРЬЯНОВСКИЙ

ЕВГЕНИЙ СИДОРОВ

На пути к синтезу

ВРЕМЯ СИНТЕЗА

Он из критиков, вызывающих споры. Да и симпатии свои Евгений Сидоров не привык скрывать, всем видны пристрастия, тенденции. С ним можно спорить в оценке той или иной книги, творчества того или иного писателя да и по части его теоретических прогнозов, которые порой не спешат сбываться, но читать его всегда интересно.

Слава богу, дело плохо,
на исходе время вдоха,
время выдоха — эпоха
зрелости и мастерства.

«Время выдоха»—не случайно так приглянулось критику четверостишие молодого поэта Алексея Королева. Оно совпало с его собственными представлениями о сегодняшнем дне литературы.

О времени зрелости, времени самоотдачи и воплощенного мастерства пишет в книге «На пути к синтезу» Евгений Сидоров.

Четыре раздела ее — это как бы даже четыре маленькие книги, даже пять, если выделить отдельно диалоги о поэзии с Л. Мартыновым, Е. Евтушенко, Ю. Марцинкявичюсом. В первом разделе общие теоретические статьи о современной литературе. Второй — разбор творчества отдельных писателей: В. Распутина, В. Тендрякова, А. Ананьева. Третий — о театре и кино, вернее, о том, как литература приходит в театр и кино. Теме этой сегодня уделяет внимание не один Е. Сидоров, вспомним книги И. Золотусского, Л. Аннинского. Внимание оказывается полезным: говоря о постановках Чехова или Гоголя в театре, неплохо бы чаще задумываться о литературной основе этих постановок.

Наиболее пестра и труднообъединима часть четвертая. Поначалу все кажется просто — перед нами литературоведческие исследования классики, но уже вторая ее статья представляет собой скорее полемику с А. Передреевым, чем заметки о самом Б. Пастернаке (статья называется «Пастернак и его критики»). Далее же пошел литературный портрет Анатолия Прелоского и еще далее — ряд коротких рецензий, незатейливо объединенных под названием «Силуэты».

И все же есть в книге то «чувство пути», которое скрепляет разделы книги. Это именно путь к синтезу. Сам критик пишет: «Мысль о необходимости нового художественного синтеза и в форме и в содержании литературы и искусства зрелого социализма постоянно владела автором, когда он еще и думать не думал об этом сборнике, а просто участвовал в текущей критической работе бок о бок со своими товарищами по литературе».

И я бы добавил: мысль, не остановленная в момент полета и ставшая статичной, а мысль видоизменяющаяся, углубляющаяся, от чего-то отказывающаяся, если вспомнить самые последние выступления Евгения Сидорова. Но главная идея остается неизменной — впереди время выдоха, время духовной зрелости мастеров, получивших столь большие авансы в предыдущие десятилетия.

Читая заметки Евгения Сидорова о поэзии и поэтах, чувствуешь и по-настоящему хороший вкус автора и широту пристрастий, когда в ряд любимых поэтов становятся Алексей Фатьянов и Давид Самойлов, Андрей Вознесенский и Сергей Дрофенко.

Достоинство стиля критической прозы Сидорова в том, что он умеет лапидарно, иногда буквально в нескольких строках раскрыть мир поэта и идею его пути. Например: «Евтушенко можно и нужно порицать за длинноты, небрежность, иногда безвкусицу, но при этом следует твердо уяснить силу и страсть его поэтического голоса... Все дело в том, что Евтушенко скор на руку и на ум — даже там, где требуются глубина и сосредоточенность. Напряженные лирические стихи-новеллы — вот его стихия. Таков путь поэта. Ему свистят и рукоплещут, а он идет своей дорогой...»

Такой требовательный подход к литературе своевременен. Художники, бывшие вчера молодыми, вступают в пору зрелости, появляется новое поколение литераторов. И критик интересно размышляет об этом.

Владимир БОНДАРЕНКО

Евгений Сидоров. На пути к синтезу. М., «Современник», 1979. 336 с.



Торжественное открытие выставки. Фото Н. Грановского

ТВОРЧЕСТВО АРХИТЕКТОРА

В Москве в залах Академии художеств открылась выставка работ народного архитектора СССР, лауреата Ленинской и Государственной премий СССР, академика, главного архитектора столицы Михаила Васильевича Посохина. Фотографии, проекты представляют уникальные градостроительные комплексы и здания, созданные мастером. Среди них Кремлевский Дворец съездов, высотный дом на площади Восстания, проспект Калинина, грандиозный комплекс «Олимпийский», построенный недавно в Москве, комплекс курорта Пицунда. Экспозиция отражает многообразную деятельность М. В. Посохина: показывает его в качестве инициатора и руководителя разработки «Единого каталога унифицированных изделий», открывшего большие возможности для композиционных решений в строительстве новых кварталов, улиц, городов, дает возможность зрителям увидеть созданные им живописные произведения, акварели, графику. Выставка знакомит с зарубежными постройками архитектора: советскими павильонами на международных выставках в Канаде и Японии, зданиями посольств СССР в Бразилии и США; демонстрирует его поиски в области синтеза архитектуры и изобразительных искусств, совместные работы со скульпторами и художниками Н. Томским, П. Кориным, А. Дейнекой, А. Мыльниковым, М. Аникушиным, Н. Никогосяном, Н. Андроновым, А. Васнецовым, Ю. Королевым, З. Церетели.

Георгий ХРИСТОВ

ТЕАТРАЛЬНОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

— Ты, наверное, совсем забыла, что мы сегодня вечером идем в театр.

— Напрасно волнуешься, ничего я не забыла. Времени достаточно!

— Достаточно, достаточно... Всегда приходим ко второму действию. И последний раз тоже.

— Нет, ты просто невозможен! Ворчишь до тех пор, пока начисто испортишь человеку настроение. Лучше посоветуй, что мне надеть: вечернее платье или юбку с блузкой.

— Надевай что хочешь. Только побыстрее, пожалуйста!

— Ладно. Надену, пожалуй, платье, оно больше идет мне. Постой!.. А Иван с женой тоже идут в театр?

— Откуда я могу это знать? Может быть, и идут...

— А почему ты мне сразу не сказал? Если идут, то я надену не платье, а юбку с блузкой. Юбка, правда, немного мне узка, но это ничего. По крайней мере стану более стройной. Хо! Ира лопнет от зависти... Нет, юбка сидит на мне изумительно! Ах, боже, где же туфли? Ты не видел? Молчит, будто глухой. Может быть, они случайно оказались в шкафу? Молчишь! Что же мне, по-твоему, босой идти в театр? Скажи, что лучше будет гармонировать с блузкой: кораллы или брошь? Не отвечает! Конечно, тебе все равно, как выглядит твоя жена! Ладно, надену жемчуг, пускай искусственный, но выглядит как настоящий... Ой, совсем забыла: маникюр! Так... А шаль взять с собой? Возьму! Теперь сумку: белую или черную? Как ты думаешь?..

В этот момент в коридоре раздается звонок.

— Открой! — кричит она.— Неужели ты не слышишь, что звонят!

А звонок заливается не переставая.

— Хорошо, хорошо, иду!.. Зачитался своей газетой! И кого это черти несут, когда мы собрались идти в театр? Да подождите, бегу!..

Открыв дверь, та видит перед собой мужа.

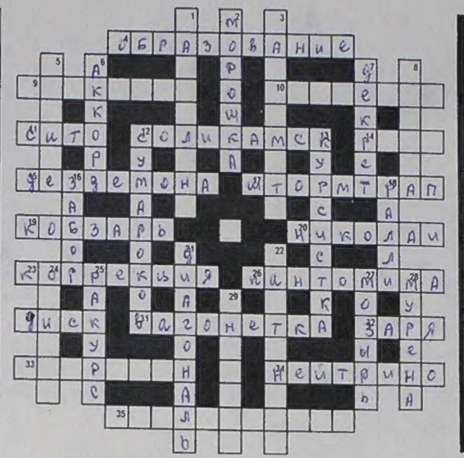
— Это ты?! А... где ты был?

— В театре. Прости, что звоню, ключ оставил в другом костюме.

Перевел с болгарского В. РОЩАХОВСКИЙ.



КРОССВОРД



По горизонтали: 4. Просвещение, обучение. 9. Созвездие северного полушария неба. 10. Титановая руда. 11. Устройство для разделения сыпучих материалов. 12. Город в Пермской области. 14. Приток Днестра. 15. Действующее лицо трагедии Шекспира «Отелло». 17. Веревочная лестница, спускаемая за борт судна. 19. Сборник стихов Т. Г. Шевченко. 20. Композитор, автор оперы «Виндзорские проказницы». 23. Исправление орбиты космического летательного аппарата. 26. Театральное представление без слов. 30. Легкоатлетический снаряд. 31. Транспортное средство, применяемое в шахтах. 32. Освещение горизонта перед восходом и после захода солнца. 33. Приемник подводных звуков. 34. Элементарная частица. 35. Заключительное разъяснение, сообщение в конце книги.

По вертикали: 1. Персонаж оперы Л. Бетховена «Фиделио». 2. Северная ягода. 3. Пилотажно-навигационный прибор. 5. Советский композитор, органист, педагог. 6. Сочетание музыкальных звуков различной высоты. 7. Законодательный документ в первые годы Советской власти. 8. Птица семейства тетеревиных, обитающая в тайге. 12. Русский писатель XVIII века. 13. Картина художника-передвижника Н. А. Ярошенко. 16. Ограда. 18. Спортивное соревнование на автомобилях. 21. Отрезок прямой, соединяющий две несмежные вершины многоугольника. 22. Советский актер и режиссер. 24. Минерал магматических горных пород. 25. Передача в живописи изображения в перспективе. 27. Старинный город в Белоруссии. 28. Промысловая морская рыба. 29. Трехсложная стопа в стихосложении.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, НАПЕЧАТАННЫЙ В № 42

По горизонтали: 2. Класс. 4. Купол. 5. «Тазит». 7. Борштанга. 9. Пирог. 10. Брамс. 12. Сурик. 14. Балалайка. 15. Смородина. 17. Арзни. 19. Асама. 20. Лонжа. 22. Настурция. 25. Румба. 26. Драга. 27. Скопа.

По вертикали: 1. «Калистрат». 2. Колер. 3. Сатин. 4. Кивер. 6. Тенор. 7. Багратион. 8. Австралия. 9. Праща. 10. Букса. 11. Сумма. 13. Конка. 16. Нагульнов. 18. Зефир. 21. «Норма». 23. Сфакс. 24. Цедра.

НА ПЕРВОЙ СТРАНИЦЕ ОБЛОЖКИ: Коллектив московского завода «Манометр» один из первых поддержал почин «XXVI съезду КПСС — 26 ударных недель». На снимке слесари-сборщики цеха № 5: Антонина Ахметова и секретарь комсомольской организации цеха Надежда Лагутина. (См. в номере материал «Класс точности».)

Фото Э. Эттингера

НА ПОСЛЕДНЕЙ СТРАНИЦЕ ОБЛОЖКИ: Музей-усадьба Кусково. Главный дворец и церковь с колокольней. * Южная анфилада главного дворца. * Павильон Грот. (См. в номере материал «Кусково».)

Фото С. Портера

Главный редактор—А. В. СОФРОНОВ.

Редакционная коллегия: Д. Н. БАЛЬТЕРМАНЦ, В. В. БЕЛЕЦКАЯ, С. А. ВЫСОЦКИЙ (заместитель главного редактора), И. В. ДОЛГОПОЛОВ (главный художник), Д. К. ИВАНОВ (ответственный секретарь), Н. А. ИВАНОВА, В. Д. НИКОЛАЕВ (заместитель главного редактора), Ю. С. НОВИКОВ, А. Г. ПАНЧЕНКО, Ю. П. ПОПОВ, Н. П. ТОЛЧЕНОВА.

Адрес редакции: 101456, Москва, А-15, ГСП, Бумажный проезд, 14. Рукописи не возвращаются.

Оформление А. А. КОВАЛЕВА

Телефоны отделов редакции: Секретариат — 212-23-27; Отделы: Внутренней жизни — 250-56-88; Международный — 212-30-03; Социалистических стран—250-24-21; Искусств—250-46-98; Литературы — 212-63-69; Военно-патриотический — 250-15-33; Науки и техники — 212-21-68; Юмора — 212-14-07; Спорта — 212-23-19; Фото — 212-20-19; Оформления — 212-15-77; Писем — 212-22-69; Литературных приложений — 212-22-13.

Сдано в набор 03.10.80. Подписано к печати 22.10.80. А 00437. Формат 70×108¹/₈. Глубокая печать. Усл. печ. л. 7,0. Уч.-изд. л. 11,55. Тираж 1 780 000 экз. Изд. № 2509. Заказ № 3039.

Ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции типография газеты «Правда» имени В. И. Ленина. 125865. Москва, А-137, ГСП, улица «Правды», 24



— Встаньте, дети, встаньте в круг!..



А потом и танцевать начнет...

Фото А. БОЧИНИНА

Эти снимки сделаны в Москве, в детских яслях № 14 Тимирязевского района. Заведующая — Екатерина Акимовна Вугнявая.

ПЕРВЫЕ ШАГИ... ПОД МУЗЫКУ



Горячими аплодисментами бывает встречена каждая удача.

Екатерина Вугнявая советуется с помощницей.



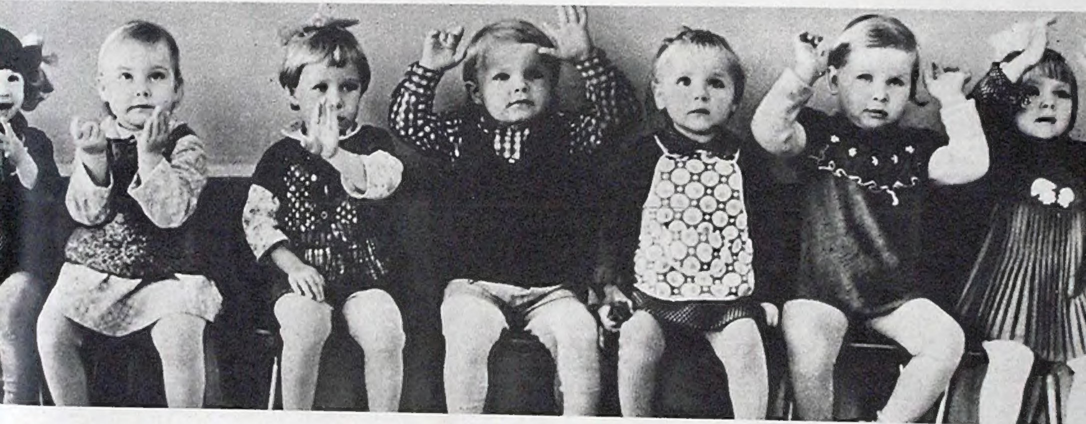
Репетиция.

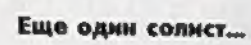






Сольный номер.

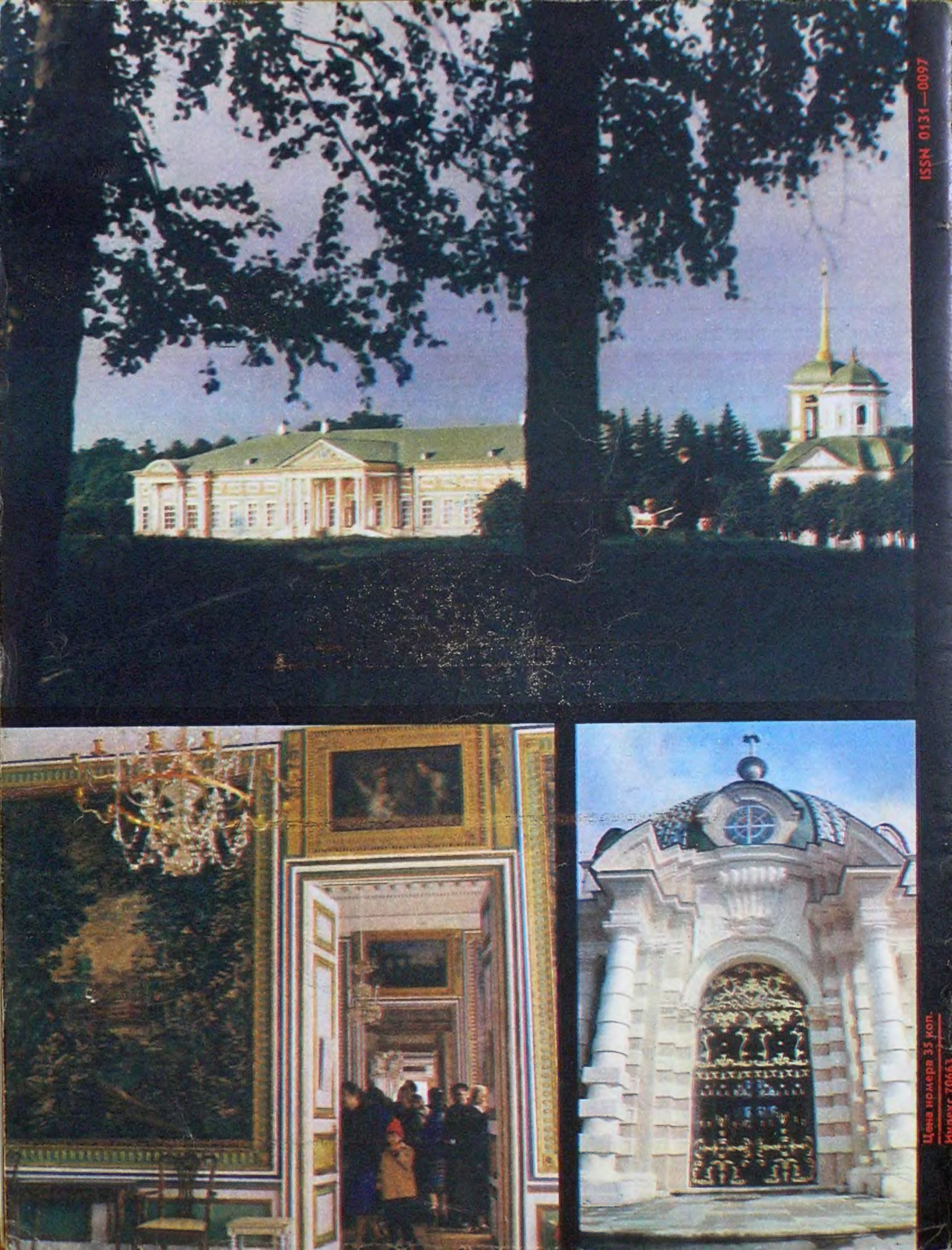




Еще один солист…






ISSN 0131—0097
Цена номера 35 коп.
Индекс 70663